



ГОВАРД

ЛАВКРАФТ

СНЫ КТУЛХУ

*Книги, изменившие мир.
Писатели, объединившие
поколения.*

Э К С К Л Ю З И В Н А Я К Л А С С И К А

Эксклюзивная классика (АСТ)

Говард Лавкрафт
Сны Ктулху (сборник)

«Издательство АСТ»

до 1937 г.

УДК 821.111-312.9
ББК 84 (7Сое)-44

Лавкрафт Г. Ф.

Сны Ктулху (сборник) / Г. Ф. Лавкрафт — «Издательство АСТ»,
до 1937 г. — (Эксклюзивная классика (АСТ))

ISBN 978-5-17-107846-1

Сны, оказывающие зловещее воздействие на реальность. Опасные оккультные опыты и воскрешение мертвецов. Музыка как средство выйти за границы собственного тела. Археологические и генеалогические изыскания, которые могут привести к непредсказуемо ужасным последствиям. И многие другие завораживающие, изысканно-провидческие истории от гения мистической литературы! В формате a4.pdf сохранен издательский макет книги.

УДК 821.111-312.9
ББК 84 (7Сое)-44

ISBN 978-5-17-107846-1

© Лавкрафт Г. Ф., до 1937 г.
© Издательство АСТ, до 1937 г.

Содержание

Алхимик	6
Тварь на пороге	11
По ту сторону сна	28
Полярная звезда	34
Показания Рэндольфа Картера	37
Улица	41
Артур Джермин	45
Картинка в доме	51
Дерево	57
Музыка Эриха Цанна	60
Конец ознакомительного фрагмента.	64

Говард Филлипс Лавкрафт

СНЫ КТУЛХУ

Сборник

Howard Phillips Lovecraft

Dreams of Cthulhu

© Перевод. О. Колесников, 2018

© Перевод. Ю. Соколов, 2018

© Перевод. В. Бернацкая, 2018

© Перевод. В. Кулагина-Ярцева, 2018

© Перевод. К. Королев, 2018

Школа перевода В. Баканова, 2018

© ООО «Издательство АСТ», 2018

АЛХИМИК

На небольшом возвышении на самой вершине покатой горы, склоны которой поросли густым, дремучим лесом, словно венчающая гору корона стоит замок моих предков. Многие века его величественный силуэт служит неизменной частью пейзажа всей окружающей сельской местности, а сам замок – дом старинного рода, прямая линия которого даже древнее, чем поросшие мхом стены. Древние башни, пережившие многие поколения, но рушащиеся под неуклонным давлением времени, в эпоху феодализма представляли одну из самых грозных и величественных крепостей Франции. Из бойниц и укрытий на стенах не раз видели баронов, графов и даже королей, готовых штурмовать до последнего, но никогда в просторных залах замка не звучало эхо шагов завоевателей.

Но с той героической поры все переменялось. Бедность, хотя и не дошедшая до крайней нужды, и гордость, не позволившая носителям славного имени осквернить его коммерцией, воспрепятствовали поддержанию великолепия древнего родового владения; и сейчас все здесь – выпадающие из стен камни, запущенная буйная растительность в парке, пересохший пыльный ров, щербатые внутренние дворики, осыпающиеся башни, а также покосившиеся полы, изъеденные червями стенные панели и поблекшие гобелены в них – рассказывает печальную повесть об увядшем величии. Одна из главных башен рассыпалась от времени, затем это же произошло с другой, и наконец у крепости осталась лишь одна башня, в которой вместо могущественного лорда пребывал его обнищавший потомок.

Именно в одной из просторных и мрачных палат оставшейся башни замка, я, Антуан, последний из несчастного и проклятого рода графов де К., впервые увидел свет долгих девяносто лет назад. В этих стенах и на склонах горы, покрытых темными мрачными чашами и изрезанных ущельями и гротами, прошла вся молодость моей безрадостной жизни. Своих родителей я не знал. Мой отец умер в возрасте тридцати двух лет, за месяц до моего рождения; его убил камень, сорвавшийся с полуразрушенного парапета. Моя мать умерла в родах, и я оказался на попечении слуги, человека, достойного доверия и наделенного к тому же недюжинным умом, которого звали, если мне не изменяет память, Пьер. Я был единственным ребенком в замке, и нехватка товарищей для игр усугублялась стараниями моего воспитателя, всячески препятствующего любому моему общению с крестьянскими детьми, семьи которых обитали по всей окружающей гору равнине. Свой запрет Пьер тогда объяснял тем, что отпрыску благородного рода не следует водить дружбу с плебеями. Теперь я знаю, что истинная причина была другой: он хотел уберечь мои уши от праздных историй о роке, преследующем многие поколения мой род, которые, щедро приукрашенные, рассказывались поселянами на досуге по вечерам перед жарко растопленным очагом.

Поэтому, одинокий и предоставленный самому себе, свое детство я проводил, изучая старинные фолианты, коими была заполнена полумрачная библиотека замка, и бесцельно странствуя по не тронутому многие века фантастическому лесу, покрывавшему гору до самого подножия. Подобное времяпрепровождение, вероятно, и стало причиной того, что меланхолия стала частью моей натуры. Занятия и исследования, связанные с мрачной таинственностью дикой природы, имели для меня особую притягательность.

Однако мне было позволено узнать очень мало об истории окружающей местности, и это крайне удручало меня. Возможно, изначально очевидное нежелание моего престарелого воспитателя углубляться в историю моих предков положило начало тому ужасу, который я испытывал при каждом упоминании о моем доме, но на исходе детства я сумел соединить бессвязные недомолвки, слетавшие с языка заговаривающегося старика, относящиеся к неким обстоятельствам, с годами превратившиеся для меня из странных в вызывающие страх. Обстоятельства, которые я имею в виду, – это то, что все наследные графы моей семьи умерли в

раннем возрасте. Сначала я объяснял себе их безвременную кончину естественными причинами, полагая, что происхожу из семьи, в которой мужчины живут не долго, однако со временем стал соединять это с бессвязными старческими бормотаниями, в которых речь часто шла о проклятии, отмерившем носителям графского титула срок жизни в тридцать два года. В день, когда мне исполнился двадцать один год, престарелый Пьер вручил рукописную книгу, переходившую, по его словам, от отца к сыну на протяжении многих поколений и дописывавшуюся каждым новым обладателем. Она содержала поразительные записи, и их внимательное изучение подтвердило мои самые мрачные предположения. Мне следовало бы более критически отнестись к изложенному там, но в то время вера во все мистическое глубоко укоренилась в моей душе.

Начиналась она с рассказа о событиях тринадцатого века, когда замок, где я родился и вырос, был грозной и неприступной крепостью. В наших владениях появился некий весьма примечательный человек, низкого положения, но все же не крестьянин, по имени Мишель, впрочем, более известный как Мове, что означает «злой», поскольку о нем шла зловеющая слава. Свою жизнь он посвятил поискам философского камня и эликсира молодости и слыл искушенным в черной магии и алхимии. У Мишеля Злого был сын по имени Карл, юноша, столь же сведущий в тайных науках, сколь и отец, и которого прозвали поэтому Ле Сорсье, или Колдун. Порядочные люди сторонились этой пары, подозревая, что отец и сын делают что-то нечестивое. Поговаривали, что Мишель заживо сжег свою жену, принеся ее в жертву дьяволу, что именно он и его сын виновны в необъяснимых исчезновениях крестьянских детей. Тьму, окутывающую этих двоих людей, прорезал лишь один луч искупительного света: ужасный старик беззаветно любил своего отпрыска, и тот испытывал к нему чувство, намного превосходившее обычную сыновнюю преданность.

Однажды ночью в замке на горе наступило смятение из-за исчезновения юного Годфри, сына Генриха, графа де К. Группа, отправившаяся для поисков юного графа, во главе с обезумевшим отцом ворвалась в небольшой домик, где жили колдуны, и застала там старого Мишеля Злого, хлопотавшего возле большого кипящего котла. Не в силах сдержать себя от ярости и отчаяния, граф бросился на колдуна, и несчастный старик испустил дух в его смертоносных объятиях. Тем временем слуги нашли молодого Годфри в дальних, не использовавшихся в тот момент покоях огромного замка, но радостная весть пришла уже после того, как Мишель оказался убит. Когда граф со своими людьми покидал скромное жилище алхимика, со стороны леса показался силуэт Карла Колдуна. Болтовня взбодороженных слуг сообщила ему о судьбе его отца, и на первый взгляд могло показаться, что он бесстрастно отнесся к его участи. Но затем, медленно надвигаясь на графа, Карл монотонным и при этом ужасным голосом произнес проклятие, преследовавшее с того момента представителей рода графа де К.

Не сможет ни один его прямой потомок
Превысить возраст этого убийцы, —

изрек он, а затем, прежде чем метнуться в сторону темного леса и скрыться за чернильным занавесом ночи, быстрым движением выхватил из складок своего платья склянку с бесцветной жидкостью и выплеснул ее в лицо убийцы. Граф упал и вскоре, не приходя в сознание, скончался, на следующий день его похоронили, а с того момента, как он появился на свет, и до его смерти прошло немногим более тридцати двух лет. Группы крестьян проводили поиски в окружающих лесах и полях, но убийца графа исчез бесследно.

Время и запрет на упоминания об этом происшествии стерли проклятие из памяти семьи графа, так что когда Годфри, невольный виновник трагедии и наследник графского титула, пал от стрелы во время охоты в возрасте тридцати двух лет, никто не связал его смерть с давними событиями. Но когда годы спустя Роберт, следующий граф, был найден в соседней области

мертвым по непонятной причине, крестьяне шепотом стали поговаривать, что смерть нашла их господина вскоре после того, как ему исполнилось тридцать два. Луи, сын Роберта, достигнув рокового возраста, утонул в крепостном рву; скорбный список пополнялся поколение за поколением: жизни Генрихов, Робертов, Антуанов и Арманов, жизнерадостных и добродетельных, обрывались, стоило им достичь возраста их далекого предка в тот момент, когда он совершил убийство.

Из прочитанного я понял, что дальнейшего существования мне отмерено самое большее одиннадцать лет, а может, и меньше. Жизнь, не имевшая прежде в моих глазах особой ценности, с каждым днем становилась все милее, тогда как загадочный мир черной магии затягивал меня все глубже и глубже. Я жил отшельником, и современная наука несколько не интересовала меня; изучал я лишь средневековую и старался, подобно старику Мишелю и юноше Карлу, овладеть таинствами колдовства и алхимии. Но все же мне никак не удавалось постичь природу странного проклятия, поразившего мой род. Иногда, отбрасывая мистицизм, я пытался найти рациональное объяснение смерти моих предков – например, банальной расправой, начатой Карлом Колдуном и продолженной его потомками. Убедившись в результате долгих изысканий, что род алхимика не имел продолжения, я вернулся к своим исследованиям, посвященным поиску заклинания, способного освободить мой род от бремени ужасного проклятия. Лишь в одном отношении я был непоколебим: мне следует остаться холостым, ибо моя смерть прервет и само проклятие.

Мне было почти тридцать, когда Господь призвал к себе Пьера. Я один похоронил старого слугу во внутреннем дворе, где он любил прогуливаться. Таким образом, я остался единственным живым существом, обитающим в крепости, и мой тщетный протест против надвигающегося рока стал ослабевать, сменяясь смирением с тем, что я должен разделить судьбу моих предков. Большую часть времени я проводил, исследуя покинутые и разрушающиеся залы и башни старого замка, куда раньше, будучи подростком, заходить не решался; стал проникать в такие закоулки, где, по словам старого Пьера, нога человека не ступала уже более четырехсот лет. Повсюду мне попадались странные и удивительные предметы. Мебель, покрытая пылью веков, осыпалась трухой от давно воцарившейся сырости. Все обильно покрывала густая паутина; огромные летучие мыши хлопали странными костистыми крыльями в давно необитаемом мраке.

Я стал отслеживать свой точный возраст, с точностью до дня и часа, ибо каждое движение тяжелого маятника часов в библиотеке отсчитывало заметную часть остатка моего обреченного существования. С мрачным предвкушением я дожидался того момента, который неотвратимо приближался. Проклятие обрывало жизни моих предков незадолго до того, как они достигали возраста, в котором погиб граф Генрих, и теперь я ежесекундно ждал неведанной смерти. Я не знал, в каком облики она предстанет передо мной, но решил, что ей не встретить в моем лице малодушной дрожащей жертвы. А тем временем с возросшим энтузиазмом продолжал исследовать закоулки старого замка.

Во время одной из самых долгих вылазок в полуразрушенное крыло замка, менее чем за неделю до рокового часа, отмечающего предел моего земного бытия, произошло главное событие всей моей жизни. Почти все утро я пробирался по коридорам и полуразрушенным лестницам в одной из самых потрепанных временем древних башен замка. В начале дня я искал, как спуститься на более низкие уровни, туда, где в Средние века, по всей видимости, была тюрьма, а затем склад для хранения пороха. Когда я, спустившись по одной из лестниц, осторожно двигался по пропитанному селитрой проходу, настил под ногами становился все более хлипким, и вскоре мой мерцающий факел высветил голую, сочащуюся водой стену. Разворачиваясь, ибо дальше идти было некуда, я случайно заметил на полу рядом с ногами неприметную крышку люка с кольцом. После долгой, с перерывами, возни мне удалось ее приподнять; от пахучего

дыма, вырвавшегося из черного провала, пламя факела заметалось с шипением, позволив мне, однако, рассмотреть ведущие в глубину каменные ступени.

Как только факел, опущенный в смердящую бездну, стал гореть спокойно и устойчиво, я начал спуск. После долгого спуска по ступеням я оказался в узком каменном проходе, проложенном, судя по всему, глубоко под землей. Проход этот оказался довольно длинным и привел к сырой и древней массивной дубовой двери, оказавшей сопротивление всем моим попыткам открыть ее. Через какое-то время, отчаявшись, я повернул назад, к лестнице, но не успел сделать и нескольких шагов, как пережил одно из самых сильных и глубоких впечатлений, какое может выпасть на долю человека. Я вдруг услышал, как скрипят ржавые петли медленно отворяющейся за моей спиной тяжелой двери. Мои чувства в тот момент описать невозможно. Само по себе наличие в давно опустевшем старом замке очевидных свидетельств присутствия человека или духа вызвало у меня шок. Когда я обернулся и уставился на то, что было причиной звука, мои глаза, должно быть, вылезли от увиденного из орбит.

В древнем, готического вида дверном проеме стоял человек с шапочкой на голове и в длинном черном средневековом платье. Его длинные волосы и ниспадающая борода были очень густыми и отливали чернотой. Мне никогда не доводилось встречать человека с таким высоким лбом и так глубоко запавшими щеками, обрамленными суровыми морщинами; а его руки, длинные, узловатые, похожие на клешни, имели такую смертельную, подобную мрамору белизну, какой я никогда не видел у человека. Костлявое, аскетическое до истощения тело странно и уродливо контрастировало с просторностью его специфического одеяния. Но самым странным были его глаза – два бездонных черных колодца, глубоко понимающие, но при этом полные нечеловеческой злобы. Уставленный на меня их пристальный взгляд был преисполнен такой ненависти, что я словно прирос к полу.

Наконец человек заговорил, и его резкий голос, в котором звучало откровенное презрение и скрытая недоброжелательность, лишь усилил мой ужас. Язык, на котором он изъяснялся, оказался той формой латыни, которой пользовались просвещенные люди в Средние века, и был мне отчасти знаком благодаря изучению трудов древних алхимиков и магов. Он повел речь о проклятии, висящем над моим родом, о том, что мне недолго осталось жить, и подробно описал преступление, совершенное моим предком, и со злорадством перешел к мести Карла Колдуна. Карл скрылся в ночи, но спустя годы вернулся, когда наследник, Годфри, приблизился к тому возрасту, в каком был его отец в роковую ночь, чтобы выпустить стрелу в его сердце. Затем он тайком пробрался в замок и поселился в том самом заброшенном подземелье, у входа в которое стоял сейчас злоеший рассказчик, но покидал его, чтобы подстеречь Роберта, сына Годфри, когда тому минуло тридцать два года, и силой заставить того проглотить яд, чтобы продолжилось мщение, предсказанное в проклятии. Предоставив мне гадать далее над самой главной загадкой – почему проклятие не исчезло вместе со смертью Карла Колдуна, который рано или поздно должен был найти успокоение, – он пустился в долгий рассказ об алхимии и об исследованиях этих двух колдунов, отца и сына, особенно обратив внимание на то, что Карл пытался получить эликсир, дарующий отведавшему его вечную жизнь и неувядаемую молодость.

Воодушевление рассказчика, казалось, вымыло из его взгляда жгучую недоброжелательность, ошеломившую меня поначалу, но вдруг в его глазах снова вспыхнул дьявольский блеск, и с шипением, похожим на змеиное, он высоко поднял склянку с очевидным намерением прервать мою жизнь тем же способом, каким шесть столетий назад Карл Колдун расправился с моим предком. Движимый инстинктом самосохранения, я вырвался из оцепенения, уже долго удерживавшего меня на одном месте, и запустил в существо, угрожающее моей жизни, гаснущим факелом. Я услышал, как склянка разбилась о камень в дверном проходе, и в тот же момент платье странного человека вспыхнуло, осветив подземный проход странным, неприятным сиянием. Испуганный вопль моего несостоявшегося убийцы, полный бессильной злобы,

оказался последней каплей для моих истерзанных нервов, и я без сознания повалился на склизкий пол.

Когда чувства наконец вернулись ко мне, вокруг была глубочайшая тьма, и разум, потрясенный пережитым, отказывался от попыток узнать чего-либо еще, но любопытство все же одержало верх. «Кто же был этот злобный человек? – думал я. – Как он проник в замок? Почему он жаждал отомстить за смерть Мишеля Злого и как могло получиться, что со времен Карла Колдуна проклятие в течение долгих столетий неумолимо настигало очередную жертву?» Я оказался свободен от давившего на меня страха, ибо сразил того, кто призван был стать в отношении меня орудием проклятия, и теперь горел желанием лучше разобраться в том, что века преследовало мою семью и превратило мою юность в один долгий кошмарный сон. Набравшись решимости продолжить исследование, я нашарил в кармане огниво и кремень и запалил запасной факел.

Первое, что я увидел, было изуродованное почерневшее тело загадочного незнакомца. Ужасные глаза оказались закрыты. Преодолевая отвращение, я прошел в покои за готической дверью. То, что там оказалось, более всего напоминало лабораторию алхимика. В одном углу высилась груда ярко-желтого металла, искрящегося в свете факела. Вероятно, это было золото, но я не стал тратить время на проверку этого предположения, поскольку был еще не в себе от недавних событий. В дальнем конце покоя оказался выход в одно из ущелий посреди дикого леса. С изумлением я понял, каким образом незнакомец проник в замок, и двинулся обратно. Я не собирался разглядывать останки моего врага, но когда приблизился к телу, мне показалось, что он издал едва слышный стон, словно жизнь в нем еще не совсем потухла. Ошеломленный, я повернулся к обгорелому скорченному телу на полу.

Внезапно эти ужасные глаза, с чернотой более глубокой, чем обгорелые черты лица, раскрылись и уставились на меня с выражением, которое я был не способен истолковать. Потрескавшиеся губы силились произносить какие-то слова, но я их не вполне понял. Когда я различил среди них имя Карла Колдуна, мне затем показалось, что прозвучали слова «годы» и «проклятие», но общий смысл речи уловить не удавалось. При виде недоумения в моих глазах смоляные глаза незнакомца окатили меня такой злобой, что я задрожал, забыв о беспомощном состоянии моего противника.

На последней волне утекающей силы несчастный приподнялся немного на сырых склизких камнях. Я хорошо запомнил, как в предсмертной тоске он вдруг обрел голос и выплеснул на остатках дыхания слова, которые преследуют меня с тех пор днем и ночью.

– Глупец! – выкрикнул он. – Неужели ты не догадался, в чем мой секрет? Безголовый придурок, не способный понять, каким образом проклятие над твоим родом могло исполняться на протяжении шести веков! Разве я не рассказал тебе о великом эликсире вечной жизни? Разве ты не знаешь, что великая задача алхимии оказалась решена? Тогда скажу тебе прямо – это был я! Я! Я! Прожил шестьсот лет, чтобы исполнять свою месть, ибо я – Карл Колдун!

Тварь на пороге

I

Это правда, что я всадил шесть пуль в голову своему лучшему другу, но все же надеюсь изложенным здесь доказать, что не совершил убийства. Прежде всего меня назовут безумным – более безумным, чем тот, кого я застрелил в палате аркхемской лечебницы. Но затем некоторые из моих читателей смогут взвесить каждый из приведенных мною доводов, соотнесут их с известными фактами и зададутся вопросом: а мог ли я полагать иначе после того, как перед моими глазами предстало доказательство реальности всего этого кошмара – та тварь на пороге?

До той жуткой встречи я тоже видел только безумие в тех невероятных историях, участником которых оказывался. Даже и теперь я спрашиваю себя: не обманулся ли я?... не стал ли безумным? Не уверен... но найдется немало желающих рассказать всякое загадочное об Эдварде и Асенат Дерби, и даже невозмутимые полицейские не смогли найти объяснение того последнего ужасного визита. Они выдвинули весьма шаткое предположение, будто эта страшная выходка – проявление мести или грозное предупреждение со стороны изгнанных слуг, хотя в глубине души догадывались, что истина куда более ужасна и невообразима.

Итак, я утверждаю, что не убивал Эдварда Дерби. Скорее я отомстил за него и при этом очистил землю от ужасного создания, которое, если бы осталось в живых, могло бы насыщать неисчислимые ужасы на все человечество. Вблизи наших ежедневных маршрутов есть черные зоны мира теней, откуда к нам время от времени прорывается какое-то зло. Когда происходит такое, посвященный человек должен нанести разящий удар прежде, чем наступят ужасные последствия.

Я был знаком с Эдвардом Пикманом Дерби всю его жизнь. Будучи моложе меня на восемь лет, он оказался настолько одарен от природы и так преуспевал в своем развитии, что с той поры, как мне сравнялось шестнадцать, а ему восемь, у нас находилось немало общего. Это был самый феноменальный по развитию ребенок, какого я когда-либо встречал, и уже в семь лет он сочинял стихи мрачного, фантастического, почти пугающего содержания, приводившие в изумление окружающих его наставников. Возможно, такому преждевременному раскрытию таланта способствовали домашнее образование и уединение. Будучи единственным ребенком в семье, он был слабым и часто болел, и заботливые родители, опечаленные этим обстоятельством, старались держать сына поближе к себе. Мальчика никогда не оставляли без присмотра, и ему редко выпадала возможность просто поиграть с другими детьми. Без сомнения, все это породило в мальчике странную внутреннюю жизнь, в которой свобода проявлялась в полете фантазии.

Его познания в отрочестве были по любым меркам довольно обширными и странными, а детские сочинения восхищали меня, несмотря даже на то, что я был много старше. Примерно в то время меня заинтересовало искусство гротескового направления, и в этом ребенке я обнаружил редко встречающийся родственный дух. Общим фоном, конечно же способствовавшим нашему совместному интересу к миру теней и чудес, был древний, ветхий и отчасти жутковатый городок, в котором мы жили, – проклятый ведьмами, овеянный старинными легендами Аркхем, чьи прогнутые двускатные крыши и выщербленные георгианские балюстрады рядом с сонно бормочущей рекой Мискатоник предавались размышлениям о минувших веках.

Какое-то время спустя я увлекся архитектурой и оставил свой замысел проиллюстрировать книгу демонических стихов Эдварда, но, впрочем, наша дружба не стала от этого слабее.

Необычный талант юного Дерби получил удивительное развитие, и на восемнадцатом году жизни он выпустил ставший сенсацией сборник описывающих кошмары стихотворений под заглавием «Азатот и другие ужасы». Он вел оживленную переписку с печально известным поэтом-бодлеристом Джастином Джеффри, тем самым, кто написал «Людей монолита» и умер в 1926 году в сумасшедшем доме, непрерывно крича, после того как посетил какую-то зловещую и пользующуюся дурной славой деревушку в Венгрии.

Однако в прагматическом плане и в отношении личной самостоятельности молодой Дерби был совершенно беспомощен, поскольку с ним постоянно нянчились. Здоровье его стало лучше, но с детских лет в нем глубоко укоренилась привитая чересчур заботливыми родителями привычка находиться под чьим-то присмотром, так что он никогда никуда не ездил один, не принимал самостоятельных решений и не брал на себя какую-либо ответственность. Уже в раннюю пору жизни было очевидно, что он не сможет вести борьбу на равных в бизнесе или в какой-то профессиональной сфере, но поскольку семья была состоятельной, его этот факт несколько не печалил. Достигнув зрелого возраста, он сохранил обманчиво мальчишеские черты: светловолосый и голубоглазый, со свежим цветом лица, на котором лишь с трудом можно заметить результаты его потуг отрастить усы. Голос у него был спокойный и тихий, а тело, не знавшее физических упражнений, казалось скорее юношески полноватым, нежели преждевременно тучным. При своем высоком росте и красивом лице он вызывал бы интерес у женщин, если бы застенчивость не приговорила его к уединенному существованию и общению с книгами.

Каждое лето родители брали с собой Дерби за границу, и он быстро перенял внешнюю сторону европейской учености и стиля. Имея сходный с Эдгаром По талант, Дерби все больше и больше склонял его к декадентству, прочие же художественные стили и течения почти не вызывали отклика в его душе. В тот период его жизни мы часто вели с ним серьезные дискуссии. Я к тому времени уже окончил Гарвард, поработал в Бостоне у одного архитектора, обзавелся семьей и вернулся в Аркхем, чтобы заняться здесь профессиональной практикой, обосновавшись в родительском особняке на Салтонсталл-стрит, поскольку мой отец переехал во Флориду из-за проблем со здоровьем. Эдвард заглядывал ко мне почти каждый вечер, так что вскоре я стал воспринимать его как одного из домочадцев. Он всегда своей особой манерой звонил в дверь или стучал дверным кольцом, и вскоре это стало опознавательным сигналом, так что, бывало, я после ужина прислушивался, ожидая знакомых трех коротких звонков или стуков, за которыми после паузы последуют еще два. Значительно реже я отправлялся к нему в гости и с завистью примечал, что снова в его библиотеке добавились неизвестные мне фолианты.

Дерби окончил Мискатоникский университет в Аркхеме, поскольку родители не позволили ему уезжать далеко от дома. Студентом он стал в шестнадцать и завершил полный курс обучения за три года, специализировавшись на английской и французской литературе и получив высокие отметки по всем предметам, кроме математики и естественных наук. С другими студентами он общался мало, хотя с некоторой завистью посматривал на дерзко ведущих себя или богемного стиля типов, стараясь подражать их как бы заумному языку и бессмысленно-ироническому позерству и пытаясь перенять их легкомысленное отношение к жизни.

При этом он сделался фанатичным приверженцем магической мудрости древних подземелий, книжными памятниками каковой славилась Мискатоникская библиотека. Постоянный обитатель области фантазий и странностей, теперь он погрузился в настоящие руны и загадки, сохранившиеся с легендарной древности то ли в назидание, то ли в качестве предостережения. Он читал такие сочинения, как пугающая «Книга Эйбона», «Неупоминаемые культы» фон Юнцта и запретный «Некрономикон» безумного араба Абдулы Альхазреда, не сообщив родителям даже, что вообще их видел. Эдварду было двадцать, когда у меня родился сын, един-

ственный мой ребенок, и, кажется, он был польщен, узнав, что в его честь я назвал новорожденного Эдвард Дерби Аптон.

К двадцати пяти годам Эдвард Дерби был невероятно образованным человеком, вполне известным поэтом и автором сказочных историй, хотя ограниченность общения и отсутствие жизненного опыта замедляли его литературный рост, поскольку произведения его были подражательными и слишком книжными. Мне довелось быть, возможно, его ближайшим другом – я находил в нем неисчерпаемый источник теоретических познаний, тогда как он обращался ко мне за советами в любых делах, в которые не хотел посвящать родителей. Он оставался холостяком скорее вследствие своей застенчивости, инертности и родительской опеки, нежели по природной предрасположенности, в обществе появлялся крайне редко и в основном по формальным поводам. Когда началась война, слабое здоровье и укоренившаяся робость удержали его дома. Я же отправился в Платтсбург на сборы для присвоения воинского звания, но за океан так и не попал.

Шли годы. Мать Эдварда умерла, когда ему было тридцать четыре, и он на долгие месяцы стал недееспособным, пораженный неким странным душевным расстройством. Отец, однако, увез его в Европу, и там его недуг рассеялся без всяких видимых последствий. После чего его словно бы захватило нечто типа странно преувеличенного оживления, словно он избавился от какого-то незримого бремени. Он стал вращаться в среде более «прогрессивных» студентов, невзирая на свой уже вполне взрослый возраст, присутствовал на нескольких крайне буйных мероприятиях, а однажды ему даже пришлось откупаться немалой суммой (занятой у меня), чтобы его отцу не сообщили о его участии в неких событиях. Некоторые из распространявшихся шепотом сплетен относительно буйной группы мискатоникских единомышленников были крайне необычными. Они включали слухи о сеансах черной магии и другие совершенно невероятные происшествия.

II

Эдварду было тридцать восемь, когда он познакомился с Асенат Уэйт. Предполагаю, ей тогда было двадцать три года и она посещала в Мискатоникском университете специальный курс средневековой метафизики. Дочь одного моего приятеля уже встречалась с ней раньше – в школе Холл в Кингспорте – и старалась избегать общения с соученицей из-за ее странной репутации. Асенат была смугла, невысока ростом, красива лицом, которое, правда, слегка портили слишком выдающиеся вперед глаза, но что-то в ее внешности отталкивало слишком чувствительных людей. Но более всего сторониться Асенат заставляли ее происхождение и манера разговаривать. Она была из иннсмутских Уэитов, а о древнем полузаброшенном Иннсмуте и его людях уже десятки лет ходили мрачные предания; в них рассказывалось о каких-то ужасных торговых сделках 1850 года и о диковинных «не вполне человеческих» членах семей в старинных родах этого пришедшего в упадок портового городка – такие легенды, какие могли сочинять лишь старожилы-янки, рассказывая их с должными, внушающими страх интонациями.

В случае с Асенат это все усугублялось тем фактом, что она была дочерью Эфраима Уэйта, ребенком, рожденным уже от старика его никому не известной женой, которая, появляясь перед посторонними людьми, всегда скрывала лицо вуалью. Эфраим жил в Иннсмуте в очень древнем особняке на Вашингтон-стрит, и те, кто видел это здание (аркхемские жители стараются по возможности не навещать Иннсмут), уверяли, что окна мансард там всегда закрыты ставнями и по вечерам оттуда доносятся странные звуки. Старик был известен в свое время как великий знаток магии, и сохранились предания, что он обладал властью вызвать или усмирить шторм на море. Я видел его всего лишь раз или два в юности, когда он приезжал в Аркхем посмотреть запрещенные фолианты в университетской библиотеке, и, помню, мне

очень не понравилось его волчье, крайне мрачное лицо и спутанная серо-стальная борода. Он умер после полной потери рассудка при весьма загадочных обстоятельствах как раз перед тем, как его дочь (по завещанию – наследница всего его имущества) начала учиться в школе Холл, и она, надо сказать, была его ревностным подражателем и временами даже выглядела столь же демонически, как и он.

Когда начали ходить слухи о дружбе Эдварда с Асенат Уэйт, мой приятель, чья дочь знала Асенат по школе, пересказал много любопытного о ней. В школе Асенат изображала из себя чуть ли не волшебницу, и, похоже, действительно умела делать некие поразительные вещи. Она заявляла, что способна вызвать грозу, хотя ее успехи в такого рода делах люди обычно связывали с каким-то необъяснимым даром предвидения. Все животные явным образом не любили ее, и она почти незаметным движением правой руки могла заставить любую собаку завывать. Бывало, что она демонстрировала совершенно исключительные познания в науках и языках – даже шокирующие для столь юной девушки, – и в такие минуты часто пугала соучениц, ибо в ее глазах вдруг загорались злобно-плотоядные огоньки, но она, казалось, относилась к внезапной перемене в себе с какой-то остро непристойной иронией.

Впрочем, самое необычное заключалось в том, что были достоверно подтвержденные случаи ее воздействия на других людей. Она, без сомнения, обладала подлинной способностью гипнотизировать. Уставив особый странный взгляд на одноклассницу, она почти неизменно вызывала у той отчетливое ощущение взаимообмена душами, словно она вдруг оказывалась в теле школьной волшебницы и получала способность видеть со стороны свое собственное тело, на котором глаза начинали блеснуть и выпячиваться, принимая несвойственное им выражение. Асенат часто высказывала очень странные представления о природе сознания и о его независимости от физической оболочки – или как минимум от жизненных процессов в физической оболочке. Ее бесил сам тот факт, что она не мужчина, ибо она считала, что мозг мужчины обладает уникальным космическим могуществом. Она заявляла, что, будь у нее мужской мозг, она могла бы не только сравняться, но и превзойти своего отца в способности повелевать неведомыми силами.

Эдвард познакомился с Асенат на собрании «интеллигенции» у одного из студентов и не мог говорить ни о чем другом, заглянув повидаться со мной на следующий день. Он нашел ее эрудированной девушкой с разносторонними интересами, а кроме того, был пленен ее красотой. Я же тогда еще не видел эту девушку и мог лишь примерно припомнить отзывы о ней, но прекрасно знал, кто она такая. Казалось скорее печальным, что Дерби воспылал страстью к ней, но я не сказал ни слова против, ибо противодействие лишь раздувает пламя влюбленности. Он не собирался, по его словам, сообщать своему отцу о ней.

В последующие несколько недель я слышал от юного Дерби исключительно только об Асенат. Люди стали подмечать в Эдварде запоздалое пробуждение галантности, хотя все соглашались, что выглядит он заметно моложе своих лет и не кажется недостойным спутником для своего диковинного божества. Несмотря на склонность к праздному и почти неподвижному образу жизни, он был лишь слегка полноват и без единой морщины на лице. У Асенат же, напротив, в уголках глаз появились преждевременные морщинки – обычный признак частых усилий по напряжению воли.

Как-то Эдвард заглянул ко мне со своею девушкой, и я сразу же заметил, что влюблен он не безответно. Она буквально пожирала его хищным взглядом, и я понял, что их близость – не только духовная. Спустя какое-то время меня посетил старый мистер Дерби, которого я всегда ценил и уважал. Он прослышал о новом увлечении сына и сумел добиться правды «от мальчика». Эдвард задумал жениться на Асенат и уже присматривал дом в пригороде. Зная, что сын обычно слушается моих советов, отец спросил, не мог бы я как-то расстроить эти опрометчивые планы; но я с сожалением выразил свои сомнения. В данном случае проблема была не в слабости Эдварда, а в сильной воле молодой женщины. Великовозрастный ребенок

перенес свою зависимость с отцовского образа на новый, более сильный, и с этим ничего нельзя было поделать.

Свадьба состоялась через месяц; по желанию невесты их брак регистрировал мировой судья. Мистер Дерби, следуя моему совету, не стал препятствовать браку сына и вместе со мной, моей женой и моим сыном почтил своим присутствием краткую церемонию; помимо нас было также несколько молодых друзей молодоженов, учащихся в университетском колледже. Асенат купила старый дом Кроуниншилдов, уже практически за пределами города, в самом конце Хай-стрит, где молодые решили поселиться после короткой поездки в Иннсмут, откуда нужно было забрать трех слуг, кое-какие книги и разное домашнее имущество. Скорее всего, Асенат сподвигло поселиться в Аркхеме, вместо того чтобы вернуться в родной дом, не столько соблюдение интересов Эдварда и его отца, сколько желание быть поближе к университету, его библиотеке и «эстетам».

Когда Эдвард заглянул ко мне после медового месяца, мне показалось, что он внешне переменился. Асенат настояла, чтобы он избавился от жидких усов, но дело было не только в этом. Он казался уверенным и более внимательным, и его обычная капризная детская насупленность сменилась выражением почти подлинной печали. Я не сразу смог разобраться, нравится ли мне или не нравится эта перемена. Несомненно, в тот момент он более напоминал зрелого мужчину, чем прежде. Возможно, женитьба для него оказалась полезным делом – разве смена опекуна не могла бы подтолкнуть к полному избавлению от опеки, ведя его к самостоятельности и независимости? Он пришел один, ибо Асенат была занята. Она привезла огромное количество книг и приборов из Иннсмута (Дерби содрогнулся, произнеся это название) и заканчивала приводить в порядок кроуниншилдовское имение.

Ее дом – в том городе – оказался скорее все-таки мерзким местом, но с помощью кое-чего, что было там, он изучил некие удивительные вещи. Сейчас под руководством Асенат он быстро овладевал эзотерическими учениями. Они собираются вместе провести ряд опытов весьма дерзкого характера, если даже не запретного – он не полагал себя вправе рассказывать мне о них подробнее, – но он полностью доверяет ее способностям и намерениям. Трое их слуг оказались весьма странной компанией: старая-престарая супружеская пара, прожившая всю жизнь со стариком Эфраимом и рассказывавшая о нем и о покойной матери Асенат очень странные истории, и здоровая девка с изуродованным лицом, от которой, казалось, постоянно воняло рыбой.

III

Следующие два года я видел Дерби все реже и реже. Порой до полумесяца я не слышал вечерами знакомых трех и двух ударов в дверь; и когда он приходил или же, что случалось все реже, когда я сам заглядывал к нему, он был мало расположен обсуждать важные темы. Мой друг ничего более не говорил о тех оккультных изысканиях, о которых некогда рассказывал с таким восторгом, и старался не говорить вовсе о своей жене. Со времени их женитьбы она на вид заметно постарела и теперь – что было весьма странно – казалась заметно старше его. На ее лице всегда была такая сосредоточенная решительность, какой я ни у кого более не встречал, и в целом она мне казалась преисполненной какой-то скрытой и необъяснимой враждебностью. Мои жена и сын тоже заметили это, и мы со временем перестали зазывать ее к себе в гости – за что она, как заметил однажды Эдвард со свойственной ему мальчишеской бестактностью, была нам весьма благодарна. Иногда чета Дерби отправлялась в долгие путешествия – вроде бы как в Европу, хотя Эдвард намекал на иные, более экзотические маршруты.

После первого же года их совместной жизни люди начали обсуждать происшедшие с Эдвардом Дерби перемены. Подмечали это как бы между прочим, ибо перемена носила чисто психологический характер; но сопутствовали ей любопытные обстоятельства. Время от вре-

мени Эдварда замечали с таким выражением лица и за такими занятиями, которые никак не соответствовали его натуре. К примеру, хотя прежде он не умел водить автомобиль, теперь его иногда видели за рулем принадлежавшего Асенат мощного «Паккарда», мчащегося к старому кроуниншилдскому особняку или обратно, причем Дерби управлялся с ним как профессионал, справляясь со сложностями вождения со сноровкой и решительностью, обычно ему совершенно чуждыми. Выглядело это всегда так, будто он только что вернулся из очередной поездки или, напротив, отправляется куда-то, но что это за поездки – никто не догадывался, хотя чаще всего он выбирал дорогу на Иннсмут.

Как ни странно, происшедшая с Дерби перемена не казалась однозначно хорошей. Говорили, что в такие моменты он очень похож на свою жену или даже на самого старика Эфраима Уэйта; впрочем, возможно, в такие моменты он выглядел нехарактерно как раз по причине их нечастого характера. Порой он возвращался из путешествия спустя много часов, распростертый без чувств на заднем сиденье машины, которой управлял нанятый им шофер или автомеханик. Но при этом, появляясь на людях, что случалось все реже, поскольку он ограничивал общение со старыми знакомыми (в том числе, должен заметить, стал реже заглядывать и ко мне), он проявлял свою прежнюю нерешительность, а безответственное ребячество проявлялось даже сильнее, чем в прошлом. В то время как лицо Асенат старело, на лице Эдварда – за исключением упомянутых выше случаев – словно застыла маска гипертрофированной апатии, и лишь изредка по нему пробегала тень печали или понимания. Все это действительно озадачивало. В то же время супруги Дерби практически выпали из университетского кружка – не покинули его, но, по слухам, ушли из-за того, что некоторые их новые темы изучения и опыты шокировали даже самых циничных из декадентствующей компании.

На третий же год их брака Эдвард начал открыто намекать мне о своих страхах и разочаровании. Он обронил замечание, что чего-то «зашло слишком далеко», и туманно говорил, что ему нужно «обрести свою личность». Сначала я пропускал подобные замечания мимо ушей, но потом стал задавать осторожные вопросы, вспомнив, что рассказывала дочь моего приятеля о способности Асенат оказывать гипнотическое воздействие на других девочек – когда школьницам казалось, будто они оказывались в ее теле и смотрели со стороны на самих себя. Мои вопросы, похоже, пробудили в нем одновременно тревогу и благодарность, и однажды он даже пробормотал, что поговорит со мной более серьезно, но потом. Примерно тогда умер старый мистер Дерби, за что я впоследствии благодарил судьбу. Эдвард тяжело переживал это событие, хотя оно не выбило его из колеи. Со времени женитьбы он виделся с отцом удивительно редко, ибо Асенат обратила на себя всю его тягу к семейным узам. Некоторые говорили, что он отнесся к утрате родителя с поразительной бесчувственностью, особенно принимая во внимание, что после смерти отца его лихие поездки на автомобиле участились. Теперь он захотел переселиться обратно в старый родительский особняк, но Асенат настаивала на том, чтобы оставаться в кроуниншилдском доме, который ей более привычен.

Вскоре после того моя жена услышала нечто удивительное от подруги, входившей в число тех немногих, кто не прервал отношения с супругами Дерби. Однажды та отправилась на Хай-стрит к ним в гости и увидела стремительно отъезжающий от кроуниншилдского дома автомобиль, за рулем которого сидел Эдвард с необычным самоуверенным и почти насмешливым выражением лица. Она позвонила в дверь, и омерзительного вида девка сообщила, что Асенат тоже отсутствует. Но, уходя, посетительница поглядывала в окна дома, и в одном из окон библиотеки Эдварда заметила быстро спрятавшееся лицо – лицо с выражением неопишуемого страдания, отчаяния и тоскливой беспомощности. Это было – во что, впрочем, верилось с трудом из-за свойственной ей надменности – лицо Асенат, но рассказывавшая готова была поклясться, что в тот момент на нее смотрели печальные и смущенные глаза бедного Эдварда.

Теперь визиты Эдварда ко мне случались все чаще, а его намеки становились все более конкретными. Трудно было поверить в то, о чем он говорил, даже в овеванном древними леген-

дами Аркхеме, но он исповедовался в своих темных знаниях с такой искренностью и убежденностью, что вызывал беспокойство за его душевное здоровье. Он рассказывал об ужасных сборищах в укромных местах, об исполинских руинах в глубине мэнских лесов, где бесконечная каменная лестница ведет в бездну, полную мрачных тайн, где комплексные углы позволяют пройти через незримые стены в иные измерения времени и пространства, и о пугающих сеансах взаимообмена душами, который позволяет исследовать дальние и потаенные места – в других мирах, в иных пространственно-временных континуумах.

Время от времени для подтверждения каких-то совсем безумных заявлений он демонстрировал предметы, повергавшие меня в полное замешательство – предметы неуловимой окраски и с переменчивым узором, какие не встретишь на нашей земле и чьи безумные формы и изгибы не соответствовали никакому известному назначению и нарушали законы геометрии. Эти предметы, по его словам, происходили «не отсюда»; только его жена знала, как можно получить их. Порой – но всегда лишь испуганным и полуразборчивым шепотом – он говорил о своих подозрениях относительно старого Эфраима Уэйта, которого, бывало, встречал в студенческие годы в университетской библиотеке. Эти туманные намеки не касались чего-то конкретного, но, похоже, как-то относились к мучившим его сомнениям, вроде того, точно ли старый колдун умер – как в духовном, так и в физическом смысле.

Временами Дерби внезапно прекращал свои откровения, и я даже подумывал, не обладала ли Асенат способностью контролировать его речь на расстоянии и не заставляла ли его умолкать с помощью какого-то телепатического месмеризма, каким-то применением того дара, который проявлялся у нее еще в школе. Конечно, она подозревала, что он мне чего-то рассказывал, ибо долгое время пыталась воспрепятствовать его визитам ко мне – словами и взглядами, полными необъяснимой силы. Ему приходилось преодолевать трудности, чтобы заглядывать ко мне, ибо хотя он и делал вид, будто идет куда-то в другое место, некая незримая сила сдерживала его или заставляла на какое-то время забыть о цели прогулки. Обычно он приходил ко мне, когда Асенат отсутствовала – «вне своего тела», как он однажды выразился. Она всегда позже узнавала об этом – слуги следили за всеми его приходами и уходами, – но, очевидно, не считала нужным принимать решительные меры.

IV

В тот августовский день, когда я получил телеграмму из Мэна, Дерби был женат более трех лет. Мы уже два месяца не виделись, но я слышал, что он уехал «по делам». Асенат вроде бы его сопровождала, хотя глазастые сплетники приметили за двойными портьерами в окнах их дома чью-то тень и проследили, какие покупки совершают слуги. И вот теперь судебный исполнитель Чесанкука телеграфировал мне о вымазанном в грязи безумце, выбежавшем из леса, выкрикивая всякий бред и зовя меня на помощь. Это был Эдвард, и он смог вспомнить только свое имя и адрес.

Чесанкук расположен рядом с лесным поясом Мэна – обширным и мало освоенным густым лесным массивом, – и потребовался целый день безумной тряски на автомобиле по удивительной и малоприятной глуши, чтобы туда добраться. Я нашел Дерби в подвальном помещении стоящей в черте города фермы в состоянии сменяющих друг друга буйства и полной апатии. Он сразу узнал меня и тут же начал изливать маловразумительный и отчасти бессвязный поток слов.

– Дэн, во имя Господа! Впадина шогготов! На шесть тысяч ступеней вниз... Мерзость из мерзостей!.. Я бы ни за что не позволил ей взять меня с собой – и вот я здесь... Иа! Шаб-Ниггурат!.. Тень восстала от алтаря, и было там пять сотен воющих... Тварь в одеянии с капюшоном блеяла: «Камог! Камог!» – таково было тайное имя старика Эфраима на этом шабаше... Я оказался там, куда она обещала меня не брать... За минуту до того я был заперт в библио-

теке, а затем оказался здесь, куда она ушла с моим телом, – в проклятом месте, в нечестивой глубокой впадине, где начинается царство черной мглы, врата в которое охраняют стражи... Я видел шоггота... он менял свое обличье... я не вынесу этого... я убью ее, если она еще раз отправит меня туда... я убью это отродье... ее, его, это нечто... я убью это! Убью это собственными руками!

У меня ушел час на то, чтобы успокоить его, и наконец он затих. На следующий день я купил для него в поселке пристойную одежду и отбыл с ним в Аркхем. Истерия закончилась, и он погрузился в молчание, хотя вдруг начал бормотать что-то самому себе, когда автомобиль проезжал по Огасте, словно вид городских построек пробудил в нем какие-то неприятные воспоминания. Было ясно, что возвращаться домой он не хочет, и, предвкушая бредовые откровения о его жене – порожденные, безусловно, каким-то гипнотическим воздействием, действительно на него оказанным, – я подумал, что будет лучше, если он туда не вернется. Я решил, что на время размещу его в своем доме, и не важно, как к этому отнесется Асенат. Потом я помогу ему получить развод – ибо, несомненно, здесь сказывались некие психические факторы, которые делали этот брак для него самоубийственным. Как только мы покинули лесистую местность и поехали по открытому полю, бормотание Дерби стихло, и он задремал рядом со мной в машине.

Когда мы перед закатом ехали через Портленд, он снова начал бормотать, более членораздельно, чем раньше, и я услышал поток безумных откровений об Асенат. Судя по его протяженности, нервы Эдварда были уже на пределе, ибо он сплел диковинный клубок всякого бреда. Нынешнее происшествие с ним, судя по его отрывочным фразам, было лишь одно из длинного ряда подобных. Она пользовалась им, и он знал, что настанет день, когда она заберет его насовсем. Сейчас она, возможно, была вынуждена отпустить его потому лишь только, что не способна удерживать его очень долго. Она то и дело забирала его тело и удалялась в неведомые края для совершения неведомых обрядов, а его оставляла в ее собственном теле и запирала в доме, но иногда ей не удавалось удерживаться в нем, и он оказывался внезапно в своем теле, но в каком-то далеком и жутком месте. При этом иногда ей удавалось вновь завладеть им, но не всегда. Часто он оказывался один в незнакомом месте, вроде того, где я его нашел, и всякий раз ему приходилось искать дорогу домой черт знает откуда, находить кого-нибудь, кто готов сесть за руль его автомобиля.

Самое ужасное, что власть Асенат над ним сохранялась с каждым разом все дольше. Она хотела стать мужчиной – человеком в полном смысле слова, – вот для чего в нем нуждалась. В нем она разгадала сочетание прекрасного интеллекта и слабой воли. Со временем ей удалось бы вытеснить его и поселиться в его теле – поселиться, чтобы стать великим магом, как и ее отец, – а его бы она оставила в женской оболочке, которая не вполне даже человеческая. Да, теперь он знает правду об иннсмутском роде. В древности здесь велись какие-то темные дела с тварями из моря, и это было ужасно... И старый Эфраим... Он знал эту тайну и, состарившись, совершил нечто чудовищное, чтобы продлить свою жизнь – а желал он жить вечно... с Асенат ему все удалось... одно удачное перевоплощение уже свершилось.

Слушая бормотанье Дерби, я посмотрел на него внимательнее, чтобы проверить полученное от предыдущего осмотра впечатление о происшедшей в нем перемене. Станным образом он казался в лучшей форме, чем обычно, – более крепким физически и вполне нормально развитым, без малейшего намека на болезненную немощь, вызванную ленным образом жизни. Похоже, что, несмотря на всю свою прежнюю затворническую жизнь, он стал по-настоящему активным, а его тело должным образом натренировано, из чего я сделал вывод, что Асенат заставила его направить силы и волю в непривычное русло. Но прямо сейчас его разум находился в плачевном состоянии, ибо он бубнил сумасбродную чушь про свою жену, про черную магию, про старика Эфраима и про какое-то разоблачение, которое должно будет рассеять даже мои сомнения. Он повторял имена, которые я припомнил из когда-то давно просмотрен-

ных запретных книг, но временами заставлял меня содрогнуться от осознания стройности его мифических измышлений – их логичной связности, – проходившей через все его излияния. Время от времени он делал паузы, словно пытаясь набраться мужества для какого-то последнего и ужасного признания.

– Дэн, Дэн, ты разве не помнишь его: дикий взгляд, растрепанная борода, которая так и не поседела полностью? Однажды он посмотрел на меня так, что я этого никогда не забуду. Теперь она смотрит на меня таким же взглядом! И я знаю почему! Он нашел ее в «Некрономиконе», эту формулу! Я не смею пока назвать тебе точную страницу, но, когда назову, ты сам прочитаешь и поймешь. Тогда ты узнаешь, что меня поработило. Дальше, дальше, дальше, дальше – тело за телом – он не собирается умирать! Сияние жизни... он знает, как прервать связь... оно может мерцать, даже если тело мертво. Я дам тебе намек, и, может быть, ты догадаешься. Слушай, Дэн, – ты знаешь, почему моя жена прилагает столько усилий, чтобы писать так по-дурацки, с наклоном в обратную сторону? Ты когда-нибудь видел рукописи старика Эфраима? Хочешь знать, почему меня пробрала дрожь, когда я однажды увидел сделанные Асенат второпях записи?

Асенат... да существует ли такая личность? Почему подозревали, что у мертвого Эфраима в желудке был яд? Почему Гилманы рассказывают шепотом, что он орал словно напуганный ребенок, когда сошел с ума и Асенат заперла его в глухой комнате на мансарде, где был... тот, другой? Душа ли старика Эфраима оказалась заперта там? Кто кого запер? И почему он искал много месяцев кого-нибудь с ясным умом и слабой волей?... Почему он сыпал проклятиями из-за того, что у него не сын, а дочь? Скажи мне, Дэниел Аптон, что за дьявольский обмен совершился в том доме ужаса, где это богохульное чудовище по своей прихоти распоряжалось доверчивым и слабавольным получеловеческим ребенком? Разве не сделал он переход постоянным – и разве не то же хочет она в итоге сделать со мной? Скажи мне, почему эта тварь, что называет себя Асенат, оставаясь в одиночестве, пишет по-другому, так, что ее почерк и не отличишь от...

В этот момент что-то случилось. Голос Дерби в процессе разговора перешел на визг, затем вдруг он осекся и почти с механическим щелчком замер. Я вспомнил, как подобное случалось во время бесед у меня дома – когда его излияния внезапно резко обрывались, и я почти воочию видел воздействие неуловимой телепатической силы Асенат, лишавшей его дара речи. Однако на сей раз это было несколько иначе – и, по моему ощущению, несравненно более жутко. Лицо человека рядом со мной на мгновение неузнаваемо исказилось, а тело сотрясла дрожь, словно все кости, внутренние органы, мышцы, нервы и железы приспособлялись к совершенно другой осанке, к другой манере поведения и вообще к другой личности.

В чем именно заключался кошмар, я сказать не сумею; тем не менее меня захлестнула такая мощная волна отвращения и тошноты – и сковало такое сильное ощущение неестественности и ненормальности происходящего, – что я едва не выпустил руль из рук. Тот, кто сидел рядом со мной, казался сейчас не столько моим старым другом, сколько неким чудовищным захватчиком из космоса, неким дьявольским воплощением неведомых и злобных космических сил.

Я потерялся всего лишь на мгновенье, но мой спутник тут же схватился за руль и заставил меня поменяться с ним местами. Сгустились уже сумерки, а огни Портленда остались далеко позади, так что я почти не различал его лица. Однако глаза его удивительным образом светились, и я понял, что он, должно быть, сейчас в том странно возбужденном состоянии, совершенно ему не свойственном, в каком его уже не раз замечали. Это казалось странным и неподобающим: что робкий Эдвард Дерби, который никогда не умел настоять на своем и даже не пытался научиться водить автомобиль, мог приказывать мне уступить место за рулем моей машины – но все же именно так и произошло. Некоторое время он сохранял молчание, и я, охваченный необъяснимым ужасом, был этому рад.

В свете уличных фонарей Биддефорда и Соко я различил его плотно сжатый рот и поежился от блеска его глаз. Люди были правы – в таком расположении духа он был дьявольски похож на свою жену и на старика Эфраима. И меня не удивляло, почему он в таком состоянии казался отталкивающим – сейчас в нем определенно было что-то сверхъестественное, и я остро чувствовал зловещую составляющую происходящего, ибо только что выслушивал его дикий бред. Для меня, знающего Эдварда Пикмана Дерби всю жизнь, этот человек был незнакомцем, как-то проникшим к нам из черной бездны.

Он не говорил ни слова до тех пор, пока мы не оказались на неосвещенном участке шоссе, а когда заговорил, его голос звучал как-то незнакомо. Он стал более глубоким, более жестким и более решительным, чем обычно; даже выговор и произношение переменились – впрочем, слегка, вызывая не более чем смутное беспокойство. В его тембре мне показалось присутствие глубокой и неподдельной иронии – не мимолетной и бессмысленно дерзкой псевдоиронии желторотых «эстетов», которой старался подражать Дерби, но некой мрачноватой, имеющей глубокую основу, всеобъемлющую и несущую потенциальную склонность ко злу. Меня изумило, как быстро самообладание сменило приступ панического словоблудия.

– Надеюсь, ты выбросишь из головы эту мою истерику, Аптон, – сказал он. – Ты знаешь, как я нервничаю, и, полагаю, простишь меня. Я крайне благодарен, конечно, за то, что ты согласился доставить меня домой. И выбрось из головы весь тот безумный бред, те глупости, что я наговорил тебе о своей жене и вообще обо всем. Такое случается из-за чрезмерной образованности. У меня в голове много самых диковинных концепций, и когда мозг переутомляется, он порождает всякого рода фантастические измышления. Мне необходимо как следует отдохнуть – возможно, некоторое время ты меня не увидишь, но не стоит корить за это Асенат.

Это мое путешествие наверняка кажется несколько странным, но все объясняется очень просто. В северных лесах сохранилось множество древних реликвий индейцев – священные камни и тому подобное, – имеющих большое значение для фольклора, и мы с Асенат занимаемся их изучением. Мы провели очень сложные поиски, так что у меня, похоже, крыша поехала. Придется послать кого-нибудь за моей машиной, когда вернусь домой. Месяц покоя меня полностью восстановит.

Не помню, что я тогда отвечал, ибо все мои мысли были сосредоточены на пугающей чуждости облика моего спутника. С каждой минутой мое ощущение трудного для восприятия космического ужаса усиливалось, и наконец меня охватило почти маниакальное желание, чтобы эта поездка поскорее закончилась. Дерби не предложил мне снова сесть за руль, но я только радовался, что Портсмут и Ньюберипорт мы миновали на бешеной скорости.

На развилке, где главное шоссе уходит глубже в материк и огигает Иннсмут, я испугался, что мой водитель может свернуть на пустынную дорогу, идущую ближе к берегу и проходящую через проклятый город. Однако он этого не сделал, и мы стремительно пронеслись мимо Роули и Ипсвича к пункту нашего назначения. Мы прибыли в Аркхем до полуночи, и в окнах старого кроуиншилдского дома еще горел свет. Дерби вышел из машины, торопливо повторяя слова благодарности, и я, с чувством очень странного облегчения, поехал домой. Это была ужасная поездка – ужас был тем сильнее, что я не мог понять его причины, – и я ничуть не опечалился замечанию Дерби, что мы не увидимся теперь долгое время.

Следующие два месяца в городе ходили разные слухи. Поговаривали, что Дерби все чаще видит в состоянии крайнего возбуждения, а Асенат почти не показывается даже тем, кто заходит к ней в гости. Эдвард посетил меня лишь раз, ненадолго заехав в автомобиле Асенат – который вернули каким-то образом из Мэна – забрать кое-какие книги, которые давал мне почитать. Он находился в своем новом состоянии и пребывал в моем доме не дольше, чем потребовалось для нескольких малозначащих реплик. Было вполне ясно, что в этом состоянии ему со мной обсуждать нечего, и я обратил внимание, что он не удосужился даже подать обычный условный сигнал – три и два звонка в дверь. Как и тогда в автомобиле, я ощутил вызыва-

ющий головокружение бесконечно глубокий ужас, причин которого не понимал, поэтому то, что он вскоре ушел, воспринял с нескрываемым облегчением.

В середине сентября Дерби уехал на неделю, и кое-кто из декадентствующих студентов, говоря об этом со знанием дела, намекал на встречу с печально знаменитым главой секты, который после изгнания из Англии обосновался в Нью-Йорке. Я же никак не мог выбросить из головы ту странную поездку из Мэна. Преображение, свидетелем которого я стал, глубоко поразило меня, и я снова и снова ловил себя на том, что пытаюсь дать какое-то объяснение ему – и тому крайнему ужасу, который оно во мне вызвало.

Но самые странные слухи сообщали о каких-то рыданиях, доносящихся из старого крониншильдского дома. Голос, похоже, был женский; и кое-кто из молодежи полагал, что он похож на голос Асенат. Рыдания всегда были недолгими, и всякий раз прерывались, словно бы насильно заглушенные. Поговаривали даже о желательности полицейского расследования, но все это развеялось, когда Асенат однажды появилась на улицах города и стала сама навещать своих знакомых, извиняясь за свое отсутствие и между делом упоминая о нервном расстройстве и истерике своей гостыи из Бостона. Ту гостью никто никогда не видел, но появление Асенат погасило все кривотолки. А затем кто-то еще более усложнил ситуацию, рассказав шепотом, что несколько раз из дома доносились мужские рыдания.

Однажды вечером в середине октября я услышал знакомые три и два звонка в дверь. Открыв сам, я увидел на пороге Эдварда и тотчас отметил, что он – прежний, каким я не видел его с той ужасной поездки из Чесанкука. На его лице был отпечаток бури эмоций, среди которых, похоже, преобладали страх и торжество, а когда я закрывал за ним дверь, он украдкой посмотрел назад через плечо.

Неловко проследовав за мной в кабинет, он попросил виски, чтобы успокоить нервы. Я едва сдерживал желание задать ему кучу вопросов, выжидая, пока он сам не расскажет о том, о чем хочет сказать. Наконец он сдавленно сообщил:

– Асенат уехала, Дэн. Вчера вечером, когда слуги ушли спать, мы с ней долго беседовали, и я добился от нее обещания больше не мучить меня. Конечно, я использовал некоторые... оккультные средства защиты, о которых никогда тебе не рассказывал. И ей пришлось уступить, хотя она и была страшно разгневана. Она собрала вещи и отправилась в Нью-Йорк... ушла, предполагая успеть на бостонский поезд в восемь двадцать. Полагаю, пойдут сплетни, но что поделаешь... Пожалуйста, не говори никому, что у нас была размолвка, просто скажи, что она уехала в долгую научную экспедицию.

Скорее всего, она будет жить с кем-то из ее жутких поклонников. Надеюсь, она поедет на запад и там подаст на развод... как бы то ни было, я добился от нее обещания держаться подальше и оставить меня в покое. Это было ужасно, Дэн... она выкрадывала мое тело... вытесняла меня... превратила меня в узника. Я вел себя тихо и делал вид, что на все согласен, но был начеку. Действуя осторожно, я мог спланировать свои действия, ибо она не умела в буквальном смысле прочитывать все мои мысли. Из моих тайных замыслов она смогла понять только склонность к бунту, но она всегда считала меня беспомощным. У меня не было ни малейших иллюзий, что я могу оказаться сильнее ее... но я знаю несколько заклятий, и они сработали.

Дерби снова бросил взгляд через плечо и отпил еще виски.

– Когда эти чертовы слуги утром проснулись, я дал им расчет. Им это ужасно не понравилось, они стали задавать вопросы, но все же ушли. Они все чем-то на нее похожи – эти инс-мутцы, – и почти приятели... Надеюсь, они оставят меня в покое... Мне очень не понравилось, как они посмеивались, когда уходили. Надо бы снова нанять прежних папиных слуг. Я теперь перееду обратно в наш дом.

Подозреваю, ты можешь счесть меня сумасшедшим, Дэн, – но в истории Аркхема полно подтверждений такого, что я тебе рассказывал... и что еще расскажу. Ты же видел одно из преображений – тогда, в автомобиле, по дороге домой из Мэна, после того как я рассказал тебе

про Асенат. Тогда она завладела мною и изгнала из моего тела. Последнее, что помню, – это как начал рассказывать тебе, что она за дьявол. Затем она овладела мною, и через мгновение я оказался дома в библиотеке, где меня заперли эти чертовы слуги, в ее проклятом сатанинском теле, которое даже не вполне человеческое... Ты же понимаешь, что это она ехала с тобой домой... эта хищная волчица в моей шкуре... Ты же не мог не ощутить разницу!

Дерби ненадолго умолк, а меня пробрала дрожь. Конечно, я заметил разницу – но мог ли принять в качестве объяснения такую безумную фантазию? Однако мой гость, пребывающий в полном смятении, стал рассказывать еще более невероятное.

Я должен был спасти себя – должен был, Дэн! Она бы окончательно завладела мною в День всех святых – они устраивают шабаши под Чесанкуком, и все закончилось бы обрядом жертвоприношения. Она бы окончательно завладела мною – она стала бы мной, а я ею... навсегда... и стало бы слишком поздно. Мое тело навсегда стало бы ее телом, она сделалась бы женщиной – в полной мере человеком, как ей хотелось... подозреваю, что после этого она собиралась убрать меня со своего пути... убить свое бывшее тело со мной внутри, будь она проклята, как уже делала раньше... как она или оно делало раньше... – Лицо Эдварда теперь исказила свирепость, и он приблизил свой рот почти вплотную к моему уху, понизив голос до шепота. – Ты должен знать о том, о чем я намекал в машине, – что она вовсе не Асенат, а не кто иной, как сам старик Эфраим. Я заподозрил это полтора года назад, а теперь в точности знаю. Об этом свидетельствует ее почерк, когда она перестает себя жестко контролировать, – порой она делает какие-нибудь записи в точности тем же почерком, каким написаны рукописи ее папаша, в каждой черточке, и, бывало, рассказывала такое, чего никто, кроме старика Эфраима, не смог бы рассказать. Он обменялся с ней телом, когда почувствовал приближение смерти – она была единственной, кого ему удалось найти с нужным ему складом ума и достаточно слабой волей, – и завладел ее телом навсегда, точно так же, как она уже почти завладела моим, а затем отравил старое тело, в которое переселил ее. Разве ты не видел десятки раз душу старика Эфраима, глядящую из ее дьявольских глаз – и из моих, когда она контролировала мое тело?

У него сперло дыхание, и он сделал паузу, чтобы успокоиться. Я молча ждал; когда он продолжил, голос его звучал почти нормально. Вот, подумал я, кандидат в психиатрическую лечебницу; но я не хотел быть тем человеком, который его туда отправит. Возможно, время и свобода от Асенат его вылечат. Я видел, что у него нет желания снова погружаться в мрачные глубины оккультизма.

– Я потом расскажу тебе больше... сейчас мне нужен долгий отдых. Я расскажу кое-что о тех запретных ужасах, в которые она меня ввергала, кое-что о кошмарах древних времен, которые до сих пор прячутся в потаенных уголках мира благодаря ужасным жрецам, поддерживающим в них жизнь. Некоторым людям ведомо о мироздании нечто такое, чего смертные знать не должны, и они способны делать то, чего никому делать не следует. Я увяз в этом по шею, но с меня довольно. Будь я хранителем библиотеки Мискатоникского университета, я спалил бы немедленно проклятый «Некрономикон» и все прочие книги.

Но теперь она не сможет мной завладеть. Я должен съехать из того проклятого дома как можно скорее и перебраться в свой старый дом. Ты поможешь мне, я уверен, если это понадобится. Эти ее дьявольские слуги... и если люди будут допытываться, где Асенат... Понимаешь, я же не могу дать им новый адрес... И еще есть определенные группы исследователей – разные секты, ну, ты понимаешь, – которые могут неправильно истолковать наш разрыв... У некоторых из них просто чудовищные воззрения и методы. Я знаю, что ты мне поможешь, что бы ни случилось – даже если я расскажу тебе нечто, шокирующее тебя...

Я оставил Эдварда ночевать в одной из гостевых комнат, и к утру он, похоже, успокоился. Мы обсудили с ним детали его предполагаемого переезда в семейный особняк Дерби, и я надеялся, что он не замедлит переменить свой образ жизни. На следующий вечер он ко мне не зашел, но в последующие недели мы виделись часто. В разговорах мы старались как

можно меньше касаться странных и малоприятных тем и в основном обсуждали предстоящий ремонт в старом доме Дерби и мои с сыном летние путешествия, к которым Эдвард обещал присоединиться.

Об Асенат мы почти не говорили, ибо я видел, что эта тема беспокоит его слишком сильно. Слухов в городе, конечно, хватало, но ничего удивительного в этом не было, принимая во внимание все прежние странности, связанные со старым кроуниншилдским домом. Не понравилось мне лишь то, что банкир Дерби как-то не в меру разоткровенничался в Мискатоникском клубе о чеках, которые Эдвард регулярно посылал в Иннсмут неким Моисею и Абигейл Сарджент и Юнис Бабсон. Было похоже, что он платил какую-то дань прежним мерзким на вид слугам, но мне ничего про это не рассказывал.

Я с нетерпением ждал лета – и каникул у моего сына, студента Гарварда, – чтобы мы вместе с Эдвардом отправились в Европу. Но я замечал, что он поправляется не так быстро, как хотелось бы, ибо в случавшихся у него время от времени приступах бодрого отношения к жизни проскальзывало что-то истерическое, а вот подавленность и депрессия охватывали его все чаще. Ремонт в старом особняке Дерби к началу декабря был завершен, но Эдвард то и дело откладывал свой переезд. Хотя он ненавидел кроуниншилдский дом и явно страшился его, но в то же время был словно поработан им. Он все еще не начал укладывать вещи и придумывал любые предлоги, лишь бы отложить это. Когда же я прямо указал ему на это, он почему-то вдруг перепугался. Старый дворецкий его отца – он проживал вместе с ним, вместе с прежними слугами Дерби – однажды сообщил мне, что ему кажутся странными бесцельные блуждания Эдварда по дому и особенно частые посещения подвальной кладовки. Я поинтересовался, не присылала ли ему Асенат письма с какими-нибудь требованиями, но дворецкий сказал, что от нее не было вообще никаких писем.

Заглянув ко мне в гости как-то вечером накануне Рождества, Дерби вдруг совсем сломался. Я осторожно подводил беседу к совместному путешествию будущим летом, как он вдруг завопил и буквально выпрыгнул из кресла с выражением шокирующего, неконтролируемого ужаса на лице – здравомыслящему человеку подобную безмерную панику и омерзение, наверное, могла бы внушить лишь разверзшаяся пучина кошмаров.

– Мой мозг! Мой мозг! Боже, Дэн... это давит... извне... стучится... царапается... эта дьяволица... прямо сейчас... Эфраим... Камог! Камог! Впадина шогготов... Иа! Шаб-Ниггурат! Козел с легионом молодых!.. Пламя... пламя... извне тела, извне жизни... в земле... о Боже!

Я толкнул его назад в кресло и, когда безумная истерика сменилась апатией, влил ему в рот немного вина. Он не сопротивлялся, но его губы двигались так, словно он разговаривал сам с собой. Вскоре я понял, что он пытается что-то сказать мне, и приблизил ухо к его рту, пытаюсь разобрать едва слышные слова.

– Опять... опять... она пытается... я мог бы догадаться... ничто не остановит эту силу – ни расстояние, ни магия, ни смерть... оно приходит и приходит, как правило, по ночам... я не могу сбежать... это ужасно... о Боже, Дэн, если бы ты мог представить, как это ужасно...

Когда он снова впал в апатию, я подложил ему подушки и позволил спокойно уснуть. Врача вызывать я не стал, ибо понимал, что услышу относительно душевного здоровья своего друга, и решил дать его организму шанс самому справиться с этим. Около полуночи он проснулся, и я отвел его наверх в постель, но утром он ушел. Он бесшумно выскользнул из дома, и когда я позвонил ему домой, его дворецкий сообщил, что он вернулся и в волнении расхаживает по библиотеке.

С того момента состояние рассудка Эдварда быстро ухудшалось. Сам он ко мне больше не заходил, зато я стал навещать его ежедневно. Он все время сидел в своей библиотеке, уставясь в пустоту и прислушиваясь к чему-то, ведомому лишь ему. Иногда он поддерживал вполне разумный разговор, но только на заурядные повседневные темы. Любые упоминания о его

несчастье, или о планах на будущее, или об Асенат приводили его в буйство. Его дворецкий рассказал, что по ночам с ним бывают пугающие припадки, во время которых он способен случайно нанести себе увечья.

Я долго и не раз беседовал с его врачом, банкиром и адвокатом и в конце концов призвал к Эдварду врача-терапевта и двух его коллег более узкой специализации. Взрыв гнева после первых же заданных ему вопросов был яростным, но достойным жалости, и тем же вечером его отчаянно сопротивляющееся и извивающееся тело увезли в закрытом автомобиле в аркхемскую психиатрическую лечебницу. Я взялся быть его опекуном и навещал дважды в неделю, выслушивая чуть ли не со слезами на глазах безумные выкрики и монотонное повторение страшным шепотом одних и тех же фраз, вроде: «Я должен был это сделать... я должен был это сделать... оно завладеет мной... оно завладеет мной... там... там, во тьме... Мама! Мама! Дэн! Спаси меня... спаси меня...»

Было неведомо, есть ли надежда на его выздоровление, но я старался сохранять оптимизм. У Эдварда должна быть крыша над головой, когда его отпустят, потому я перевез его слуг в особняк Дерби, что он, безусловно, давно сделал бы сам, будь у него с головой все в порядке. Но я не мог решить, как поступить с кроуиншилдским домом, со всей этой кучей сложных приборов и собранием невероятно диковинных вещей, поэтому оставил все, как было, попросив слуг Дерби заходить туда раз в неделю и прибирать в главных комнатах, а истопнику дав указание в эти дни затапливать печь.

Заключительный кошмар приключился перед Сретением, чему предшествовал, по жестокой иронии, проблеск ложной надежды. В конце января мне как-то утром позвонили из лечебницы и сообщили, что к Эдварду внезапно вернулся рассудок. У него по-прежнему есть провалы в памяти, сказали мне, однако ясность ума восстановилась. Конечно, ему еще предстоит побыть какое-то время под присмотром врачей, но благоприятный исход дела сомнений не вызывает. Если все будет хорошо, через неделю его можно забрать.

Я поспешил к Эдварду, переполненный радостью, но остолбенел, когда сиделка привела меня в его палату. Больной поднялся, чтобы приветствовать меня, и с вежливой улыбкой протянул мне руку; но я тут же увидел, что он находится в том самом странно возбужденном состоянии, которое совершенно чуждо его натуре – та уверенная в себе личность, когда-то ужасно напугавшая меня, которая, как клялся когда-то Эдвард, была не кем иным, как захватившей его тело Асенат. Тот же пылающий взгляд, так похожий на взгляд Асенат и старика Эфраима, тот же плотно сжатый рот, а когда он заговорил, я ощутил в голосе ту же угрюмую, распространяющуюся на все иронию – глубокую иронию, пронизанную готовностью совершить любое зло. Это была та самая личность, что сидела за рулем моего автомобиля в тот вечер пять месяцев назад, та личность, которую я не видел с того дня, когда он, забыв позвонить в дверь условным сигналом, породил во мне смутный страх, – и теперь он вызвал во мне то же невнятное ощущение дьявольской чуждости и невыразимой мерзости.

Он заговорил о необходимых приготовлениях перед выпиской из лечебницы, и мне оставалось только соглашаться с ним, несмотря на удивительные провалы в его воспоминаниях о недавних событиях. И в то же время я ощущал в этом что-то ужасное, необъяснимо неправильное и ненормальное. Это существо вызывало во мне ужас непонятного происхождения. Это был человек совершенно в здравом уме – но был ли это тот Эдвард Дерби, которого я знал? Если нет, то кто или что это – и куда делся Эдвард? Следует ли выпустить эту тварь на свободу или держать под замком? Или ее надо вообще стереть с лица земли? В каждом слове, изрекаемом этим существом, чувствовалось что-то бездонно сардоническое, а взгляд, похожий на взгляд Асенат, придавал особую и омерзительную насмешливость его словам о близком освобождении, завоеванном ценой заточения в слишком стесненных условиях. Должно быть, я не смог скрыть своего замешательства и почел за благо поскорее убраться отсюда.

Весь тот день и последующий я ломал голову над этой проблемой. Что же случилось? Что за разум глядел на меня из чужих глаз на лице Эдварда? Я не мог думать ни о чем, кроме как об этой ужасной загадке, и оставил все попытки заниматься своей обычной работой. На второй день утром позвонили из лечебницы и сообщили, что состояние выздоравливающего пациента не изменилось, и к вечеру я был в состоянии, близком к нервному расстройству, – это я могу откровенно признать, хотя кто-то может сказать, что именно мое тогдашнее состояние сказалось на моем поведении. Против этого я могу сказать только, что моим безумием невозможно объяснить все произошедшее после этого.

V

Ночью – на второй день после моего посещения лечебницы – меня охватил непреодолимый ужас, сдавливающий в тисках панического черного страха, от которого не удавалось избавиться. Началось это с телефонного звонка около полуночи. Из всех домочадцев только я не спал и потому сонно взял трубку в библиотеке. Никто не отозвался с того конца провода, и я уже собрался положить трубку и отправиться в постель, как мое ухо уловило какой-то слабый звук. Может, кто-то с трудом пытается со мной поговорить? Вслушиваясь, я вроде бы разобрал хлюпающий звук и в нем с удивлением распознал намек на невнятные неразличимые слоги и даже слова. «Кто здесь?» – обратился я, но в ответ услышал лишь: «буль... буль... буль-буль...». Мне показалось, что этот звук был каким-то механическим; вообразив, что это какой-нибудь сломанный аппарат, способный лишь принимать, но не издавать звуки, я добавил: «Вас не слышно. Лучше повесьте трубку и обратитесь в справочное бюро». И тут же услышал, как трубку на том конце положили.

Это, как я сказал, случилось около полуночи. Когда потом проследили, откуда поступил звонок, оказалось, что звонили из кроуиншилдского дома, хотя оставалась еще добрая половина недели до очередного посещения его слугами. Замечу здесь, что в доме действительно обнаружили какие-то следы, в дальней подвальной кладовке все было перевернуто, повсюду грязь, выкинуты вещи из комода, мерзкие отпечатки на телефонной трубке, разбросаны листы писчей бумаги, и, наконец, повсюду стояла отвратительная вонь. Полицейские, дурачки, признают только свои глупые гипотезы и до сих пор пытаются найти злодеев-слуг, которым посреди нынешнего переполоха удалось скрыться. Уверяют, что те так мерзко отомстили, а я попал в число жертв, потому что был ближайшим другом Эдварда и его советчиком.

Идиоты! Они вообразили, что эти глупые скоморохи могли подделать его почерк? Они вообразили, что те могли учинить все то, что произошло далее? Неужели они настолько слепы, что не заметили изменений в теле Эдварда? Что же касается меня, сейчас я верю всему, что рассказывал мне Эдвард. За гранью жизни есть ужасы, о которых мы даже не подозреваем, но время от времени человеческие злодеяния призывают их, позволяя вторгаться в нашу жизнь. Эфраим – Асенат – это отродье дьявола призвало их, и они поглотили Эдварда так же, как сейчас пытаются поглотить меня.

Могу ли я быть уверенным в своей безопасности? Эти силы способны выжить даже после смерти физического тела. На следующий день после полудня, когда я вышел из прострации и вновь обрел способность связно говорить и контролировать свое тело, я отправился в сумасшедший дом и застрелил его – ради Эдварда и ради всего человечества, но все это без толку, пока его не кремировали! Тело сохраняют для какого-то дурацкого вскрытия, которое будут производить несколько врачей, но я утверждаю: его необходимо кремировать. Его необходимо кремировать – того, кто был вовсе не Эдвардом Дерби, когда я в него стрелял. Я сойду с ума, если этого не сделают, ибо я, возможно, следующий. Но у меня воля вовсе не слабая, и я не позволю подорвать ее теми кошмарами, которые, я знаю, бурлят вокруг. Это некая одна тварь: Эфраим, Асенат, Эдвард – и кто следующий? Я не позволю изгнать меня из собственного тела!

Я не стану меняться душой с изрешеченными пулями исчадием ада, оставшимся там, в психбольнице!

Но позвольте мне связно рассказать о последнем кошмаре. Я не стану напирать на то, что полиция упрямо игнорирует рассказы про кого-то низкорослого, уродливого и ужасно зловонного, которого встретили как минимум трое прохожих на Хай-стрит около двух часов ночи, и необычные отпечатки ног в определенных местах. Скажу только, что около двух меня разбудил звонок и стук в дверь; в звонок звонили и кольцом стучали попеременно и как бы неуверенно, в тихом отчаянье, причем тот, кто звонил и стучал, пытался воспроизвести наш с Эдвардом старый условный сигнал: три-пауза-два.

Вырванный из крепкого сна, мой разум метался в смятении. Дерби возле моей двери – и он вспомнил старый код! Но та новая личность не могла вспомнить его... Может, душа Эдварда вдруг вернулась к нему? Но почему он пришел ко мне в такой очевидной спешке или возбуждении? Его отпустили раньше времени или, может быть, он сбежал? Возможно, думал я, накидывая халат и спускаясь по лестнице вниз, возвращение его прежнего «я» сопровождалось бредом и физическими страданиями, такими, что он не смог вынести и решился на отчаянный побег. Что бы ни случилось, это был снова старый добрый Эдвард, и я должен был ему помочь!

Когда я распахнул дверь во тьму вязовой аллеи, порыв ветра обдал меня таким невыносимым зловонием, что я едва не потерял сознание. Но я смог подавить приступ тошноты и через секунду с трудом различил на ступенях крыльца согбенную маленькую фигурку. Меня призвал к двери Эдвард, но тогда кто эта мерзкая смердящая пародия на человека? И как Эдвард мог так внезапно исчезнуть? Ведь он звонил всего лишь за секунду до того, как я открыл дверь.

На прищельце было пальто Эдварда, полы которого почти волочились по земле, а рукава, хотя и были подвернуты, все же закрывали кисти рук. На голову была глубоко надвинута фетровая шляпа, лицо скрывал черный шелковый шарф. Когда я неуверенно сделал шаг вперед, фигурка издала хлюпающий звук, похожий на тот, что я слышал по телефону: «буль... буль...» – и рука протянула мне на кончике длинного карандаша большой и плотно исписанный лист бумаги. Пошатнувшись от нестерпимого зловония, я схватил бумагу и попытался прочитать ее при свете, падающем из открытой двери.

Без сомнения, это был почерк Эдварда. Но для чего он стал писать мне, если только что был возле моей двери? И почему все буквы такие кривые, грубые, словно написанные трясущейся рукой? При тусклом освещении я не смог разобрать написанное, поэтому отступил в холл, а низкорослая фигура автоматически двинулась за мной, замешкавшись лишь на порожке внутренней двери. От этого необычного ночного гостя исходил ужасный смрад, но я понадеялся (к счастью, не напрасно), что моя жена не проснется и не окажется сейчас здесь.

Затем, читая написанное на бумаге, я почувствовал, что колени у меня подогнулись, а в глазах потемнело. Придя в себя, я обнаружил, что лежу на полу, а этот проклятый листок все еще зажат в моей сведенной от ужаса судорогой руке. Вот что на нем было написано:

«Дэн, отправляйся в лечебницу и убей это. Уничтожь. Это больше не Эдвард Дерби. Она завладела мной – это Асенат, – хотя сама она уже три с половиной месяца как мертва. Я обманул тебя, сказав, что она уехала. Я убил ее. Это было необходимо. Все случилось неожиданно, мы были одни, а я пребывал в своем теле. Я схватил подвернувшийся под руку подсвечник и пробил ей голову. Она собиралась завладеть мною полностью в День всех святых.

Я закопал ее в дальней подвальной кладовке под какими-то старыми ящиками и убрал все следы. У слуг утром зародились некоторые подозрения, но у них самих есть такие секреты, что они не смеют обращаться в полицию. Я отослал их прочь из дома, но одному лишь Богу известно, что они и прочие члены секты способны совершить.

Шли дни, и мне казалось, что я в полном порядке, но потом я стал ощущать, будто мой мозг что-то вытягивает. Я моментально понял, что это, – ведь как я мог забыть! Такая душа, как у нее – как у Эфраима, – лишь частично соединена с телом и не покидает земной мир до тех пор, пока само тело вообще существует. Она взяла надо мною власть, заставила поменяться с ней телом – то есть отобрала мое тело, а меня загнала в свой труп, зарытый в подвальной кладовке.

Я понял, что меня ждет, вот почему вел себя буйно, вынуждая отправить меня в сумасшедший дом. Затем это случилось... Я обнаружил себя задыхающимся в темноте... Запертым в разлагающемся теле Асенат, в подвальной кладовке, под ящиками, где я его закопал. И я знал, что она должна теперь оказаться в моем теле в лечебнице – навсегда, ибо День всех святых уже прошел, и жертвоприношение сработает даже и без нее: она переселится в мое тело, обретая свободу и неся угрозу для всего человечества. Я был в отчаянье, но, несмотря ни на что, смог отрыть себя и выбраться.

Я уже слишком плох, чтобы говорить – мне не удалось поговорить с тобой по телефону, – но пока что способен писать. Сейчас я соберусь с силами и доставлю тебе свое последнее слово и предупреждение. Убей этого демона, если тебе дорого спокойствие и благополучие мира. И необходимо, чтобы эту тварь сожгли. Если этого не сделать, она будет продолжать жить, вечно переходя из тела в тело, и я не могу сказать, на что еще она способна. Держись в стороне от черной магии, Дэн, это сатанинское занятие. Прощай; ты был замечательным другом. Расскажи полиции что-нибудь правдоподобное; и я ужасно сожалею, что втянул тебя во все это. Скоро я обрету покой – эти остатки тела долго не протянут. Надеюсь, ты сможешь прочитать это. И убей это нечто – убей его! Твой Эд».

Вторую половину письма я смог прочитать лишь значительно позже, ибо упал в обморок, едва дочитав третий абзац. Я снова упал в обморок, когда увидел зловонное нечто, лежащее на моем пороге и разлагающееся в теплом воздухе. Ночной пришелец более не шевелился и не приходил в сознание.

Дворецкий, нервы которого оказались крепче, чем у меня, не упал в обморок, явившись утром. Напротив, он тут же позвонил в полицию. Когда они приехали, меня перенесли наверх и уложили в кровать, а эта... некая грудa... осталась лежать там, где свалилась ночью. Полицейские, проходя мимо, прикрывали носовыми платками носы.

В ворохе одежды Эдварда они обнаружили полуразложившуюся плоть и кости, а также пробитый череп. По следам работы стоматолога этот череп был идентифицирован как принадлежавший Асенат.

По ту сторону сна

Интересно, задумывается ли большинство людей над могущественной силой сновидений и над природой порождающего их темного мира? Хотя подавляющее число ночных видений является, возможно, всего лишь бледным и причудливым зеркалом нашей дневной жизни – против чего возражал Фрейд с его наивным символизмом, – однако встречаются изредка не от мира сего случаи, не поддающиеся привычному объяснению. Их волнующее и не оставляющее в покое воздействие позволяет предположить, что мы как бы заглядываем в мир духа – мир, не менее важный, чем наше физическое бытие, но отделенный от него непреодолимым барьером. Из своего опыта знаю: человек, теряющий осознание своей земной сущности, временно переходит в иные, нематериальные сферы, резко отличающиеся от всего известного нам, но после пробуждения сохраняет о них лишь смутные воспоминания. По этим туманным и обрывочным свидетельствам мы можем о многом догадываться, но не можем ничего доказать. Можно предположить, что бытие, материя и энергия не являются в сновидческом мире постоянными величинами, какими мы привыкли их считать; точно так же пространство и время значительно отличаются там от наших земных представлений о них. Порой мне кажется, что именно та жизнь является подлинной, а наше суетное существование на земле – явление вторичное или даже мнимое.

Именно от подобных раздумий меня, еще молодого тогда человека, оторвали в один из зимних дней 1900–1901 годов, когда в психиатрическую лечебницу, где я работал, доставили мужчину, чей случай вскорости необычайно заинтересовал меня. Из документов явствовало, что его звали то ли Джо Слейтер, то ли Джо Слайдер, на вид он был типичным жителем Катскиллских гор, то есть одним из тех странных, отталкивающего вида существ – потомков старого земледельческого клана, чья вынужденная почти трехвековая изоляция среди скал, в безлюдной местности способствовала постепенному вырождению, в отличие от более удачливых соплеменников, выбравших для поселения обжитые районы. Это своеобразное племя напоминает тех опустившихся обитателей юга, которых презрительно именуют «белая рвань», им равно незнакомы законы и мораль, а их интеллектуальный уровень – самый низкий в стране.

Джо Слейтера доставили в лечебницу четверо полицейских, заверивших меня, что их подопечный весьма опасен, однако при первом осмотре я не заметил в его поведении ничего пугающего. Хотя он был значительно выше среднего роста и, казалось, состоял из одних мускулов, но сонная, выпцветшая голубизна его маленьких слезящихся глаз, редкая и неопрятная светлая борода, тяжело отвисшая, вялая нижняя губа производили впечатление какой-то особой незащитности недалекого человека. Каков был его возраст, не знал никто: там, где он жил, свидетельств о рождении не существовало, так же как и прочных семейных уз, но, учитывая плешь на голове и удручающее состояние зубов, главный врач положил ему сорок лет.

Прочитав медицинские и судебные заключения, мы пришли к определенным выводам о болезни этого человека: бродяга и охотник, он всегда казался своим темным сородичам несколько чужаковатым. Он подолгу спал, а пробуждаясь, часто рассказывал о непонятных вещах в манере столь странной, что вызывал страх даже в сердцах лишенных фантазии соплеменников. Необычным был не язык – свой бред он описывал на примитивном местном наречии, – а тон и окраска речи, которые обретали такую таинственную мощь, что никто не оставался безучастным. Сам он бывал потрясен и озадачен не меньше слушателей, но уже через час после пробуждения все забывал и снова впадал в тупую безучастность, свойственную жителям этого горного района.

Со временем приступы утреннего безумия у Слейтера участились, становясь все исступленнее, пока не произошла наконец – приблизительно за месяц до его появления в лечебнице – та жуткая трагедия, которая и вызвала его арест. Однажды около полудня, очнувшись от глубо-

кого сна, в который он впал после изрядной попойки, имевшей место часов в пять предыдущего дня, Слейтер издал такой душераздирающий вопль, что соседи прибежали к нему в хижину – грязный хлев, где он жил со своими родными, наверняка такими же жалкими людишками, как и он сам. Выбежав из хижины прямо на снег, он, воздев руки, старался подпрыгнуть как можно выше, крича при этом, что ему «надо в большую-большую хижину, где сверкают стены, пол и потолок и откуда-то гремит музыка». Двое крепких мужчин пытались держать его, но он яростно вырывался с необъяснимой силой маньяка и продолжал кричать, что ему во что бы то ни стало надо найти и убить «эту штуковину, которая сверкает, трясется и хохочет». Свалив вскоре одного из мужчин неожиданным ударом, он набросился на другого в каком-то кровавом, демоническом экстазе, истошно вопя, что он «допрыгнет до неба, спалив на своем пути все, что будет мешать».

Родные и соседи в панике разбежались, а когда самые смелые вернулись, Слейтера уже и след простыл, а на снегу темнело нечто бесформенное, что еще час назад было живым человеком.

Никто из горцев не осмелился преследовать убийцу, возможно, надеясь, что он замерзнет в горах. Но несколько дней спустя, тоже утром, они услышали доносящиеся из отдаленного ущелья вопли и поняли, что ему удалось выжить. Следовательно, надо было самим расправиться со злодеем. Тут же снарядили вооруженный отряд, передавший вскоре свои полномочия (трудно сказать, какими они им представлялись) случайно встреченным в этих местах полицейским, которые, наткнувшись на отряд и узнав, в чем дело, присоединились к поискам.

На третий день Слейтера обнаружили без сознания в дупле дерева и отвезли в ближайшую тюрьму, где, как только он пришел в себя, его обследовали психиатры из Олбани. Им арестант объяснил все чрезвычайно просто. Однажды, изрядно выпив, он заснул еще до сумерек. Очнувшись, увидел, что стоит с окровавленными руками в снегу перед своим домом, а у его ног – изуродованный труп Питера Слейтера, его соседа. Объятый ужасом, он бросился в лес, не в силах лицезреть то, что могло быть делом его рук. Ничего другого он, по-видимому, не помнил, даже умело поставленные вопросы специалистов не прояснили сути.

Ту ночь Слейтер провел спокойно и, проснувшись, тоже ничем особенным о себе не заявил, хотя выражение его лица несколько изменилось. Доктору Бернardu, чьим пациентом он стал, показалось, что в светло-голубых глазах появился странный блеск, а обвисшие губы слегка сжались, как бы от некоего принятого решения. Однако на вопросы Слейтер отвечал с прежней безучастностью жителя гор, повторяя то же, что и вчера.

Первый приступ болезни произошел в больнице на третье утро. Сначала Слейтер метался во сне, а затем, проснувшись, впал в такое бешенство, что лишь усилиями четверых санитаров на него удалось надеть смирительную рубашку. Психиатры, чье любопытство было до крайности возбуждено захватывающими – при всей их противоречивости и непоследовательности – рассказами родных и соседей больного, дружно обратились в слух. В течение четверти часа Слейтер делал отчаянные попытки освободиться, бормоча на своем примитивном диалекте что-то о зеленых, полных света зданиях, о громадных пространствах, странной музыке, призрачных горах и долинах. Но более всего его занимало нечто таинственное и сверкающее, что раскачивалось и хохотало, потешаясь над ним. Это громадное и непонятное существо, казалось, заставляло Слейтера мучительно страдать, и его сокровенным желанием было свершить кровавый акт возмездия. По его словам, он готов, чтобы убить это существо, лететь через бездны пространства, сжигая все на своем пути. Слейтер повторял это много раз, а потом вдруг замолк. Огонь безумия потух в его глазах, и вот он уже в тупом недоумении смотрит на врачей, не понимая, почему связан. Доктор Бернard освободил больного от пут, и тот провел на свободе весь день, однако перед сном его убедили надеть смирительную рубашку. Слейтер признавал, что иногда немного чудит, но вот почему – объяснить не мог.

На протяжении недели у Слейтера было еще два приступа, но они мало что нового рассказали докторам. Те ломали голову над подоплекой его видений: читать и писать их подопечный не умел, сказок и легенд тоже, очевидно, не знал. Откуда же брались эти фантастические образы? Их внелитературное происхождение выдавала речь несчастного безумца, остававшаяся во всех случаях крайне примитивной. В бреду он говорил о вещах, которых не понимал и о которых не мог толком рассказать; он переживал нечто такое, о чем никогда ранее слышать не мог. Врачи вскорости сошлись на том, что причиной болезни стали патологические сны пациента, необычайно яркие образы которых и после пробуждения владеют разумом этого жалкого существа. Дабы соблюсти необходимые формальности, Слейтер предстал перед судом по обвинению в убийстве, был признан сумасшедшим, оправдан и направлен в лечебницу, где я тогда занимал скромное положение интерна.

Как я уже говорил, меня всегда занимала жизнь человека во сне, отсюда понятно нетерпение, с каким я приступил к осмотру пациента, предварительно ознакомившись со всеми документами. Он, казалось, почувствовал мою симпатию и нескрываемый интерес к нему, оценил и ту мягкость, с которой я его расспрашивал. В дальнейшем он не узнавал меня во время приступов, когда я, затаив дыхание, внимал его хаотическому рассказу о космических видениях, зато всегда узнавал в спокойные периоды, сидя у зарешеченного окна за плетением корзин и, возможно, тоскуя о навсегда утраченной жизни в горах. Родные его не навещали – они, наверное, нашли другого главу семейства, как это принято у отсталых горных племен.

Постепенно я все более восхищался безумным и фантастическим миром грез Джо Слейтера. Сам он был поразительно убог в интеллектуальном и языковом отношении, однако его ослепительные, грандиозные видения, пусть и переданные на бессвязном варварском жаргоне, могли зародиться лишь в особом, высшем сознании. Я часто задавал себе вопрос: как могло случиться, что неразвитое воображение дегенерата с Катскиллских гор могло вызвать к жизни картины, отмеченные искрой гения? Как мог неотесанный тупица воссоздать эти блистающие миры, полные божественного сияния и необъятных пространств, о которых Слейтер вещал в безумном бреду? Я все больше склонялся к мысли, что в жалком человечешке, подобострастно вззирающем на меня, таится нечто выходящее за рамки понимания, как моего, так и моих более опытных, но наделенных скудным воображением коллег.

От самого же больного я не мог узнать ничего определенного. Мне удалось лишь выяснить, что в своем полусне Слейтер бродит, а иногда плавает в неведомых людям пространствах – среди огромных сверкающих долин, лугов, садов, городов, сияющих дворцов. Там он уже был не полудиким вырожденком, а личностью яркой и значительной, чьи деяния исполнены достоинства и величия. Существование ему омрачал лишь некий смертельный враг, который был не похож на человека и обладал хотя и видимой, но нематериальной структурой. Именно поэтому Слейтер и называл его «штуковиной». Эта «штуковина» причиняла Слейтеру чудовищные, непонятного свойства страдания, за которые наш маньяк (если он таковым все же являлся) порывался отомстить.

Из того, что рассказывал Слейтер, я уяснил, что он и «сверкающая штуковина» обладали равной мощью, что сам он во сне тоже был «сверкающей штуковиной» – словом, принадлежал к той же породе, что и его враг. Эту догадку подтверждали и его частые упоминания о полях сквозь пространства, когда он сжигал на своем пути все преграды. Эти видения облекались больным в нескладную, совершенно неадекватную форму, что позволило мне прийти к выводу, что в мире его сновидений, если он действительно существовал, общение происходит без помощи слов. Может быть, душа, сопутствуя этому убогому созданию в его снах, изо всех сил пыталась передать ему нечто такое, что не выговаривалось на его примитивном и ограниченном языке? И возможно, я встретился с духовной эманацией, чью тайну мог бы раскрыть, если бы нашел способ. Я не поверял свои мысли старым врачам: с возрастом люди становятся

скептиками и циниками, с трудом принимая новое. Кроме того, совсем недавно главный врач по-отечески предостерег меня: по его мнению, я слишком много работаю и нуждаюсь в отдыхе.

Я всегда думал, что человеческая мысль в своей основе – поток атомов и молекул, который можно представить в виде либо радиоволн, либо лучевой энергии, подобно теплу, свету и электричеству. Эта идея развилась в убеждении, что телепатия, или мысленная связь, может осуществляться с помощью соответствующих приборов. Еще в колледже я собрал приемник и передатчик, напоминающие те громоздкие устройства, которые применялись в беспроводном телеграфе, когда еще не существовало радио. Со своим другом, тоже студентом, я провел ряд ни к чему не приведших опытов, после чего запрятал приборы подальше, вместе с другим учебным хламом, пообещав себе когда-нибудь заняться этим снова.

И вот теперь, охваченный желанием разгадать тайну сна Джо Слейтера, я отыскиал эти приборы и провозился с ними несколько дней, готовя для испытания. Приведя устройство в порядок, я не упускал ни одного случая испробовать его. Как только у Слейтера начинался приступ бешенства, я тут же закреплял передатчик на его голове, а приемник – на своей и, слегка поворачивая рукоятку настройки, пытался отыскать предполагаемую волну умственной энергии. Я с трудом представлял себе, в какой форме – в случае успеха – будет усваиваться эта энергия моим мозгом, но не сомневался, что сумею распознать и истолковать ее. Я проводил эти эксперименты, никого не поставив о них в известность.

Это случилось 21 февраля 1901 года. Оглядываясь назад, я отдаю себе отчет в фантастичности случившегося и иногда задумываюсь, не был ли прав доктор Фентон, приписавший мой рассказ игре больного воображения. Помнится, он выслушал его сочувственно и терпеливо, однако тут же дал мне успокоительное и сделал все, чтобы уже на следующей неделе я смог уйти в полугодовой отпуск.

Той роковой ночью я был до крайности возбужден и расстроен, так как стало ясно, что, несмотря на прекрасный уход и лечение, Джо Слейтер умирает. То ли ему недоставало его родных горных просторов, то ли ослабший организм уже не мог справляться с бурями, сотрясавшими его мозг, но, каковы бы ни были истинные причины, огонек жизни еле теплился в его измученном теле. В тот день он все время дремал, а с наступлением темноты впал в беспокойный сон.

Против обыкновения я не надел на него смиренную рубашку, решив, что он уже слишком слаб и не может представлять опасности, даже если перед смертью переживет еще один приступ помешательства. Однако я все же закрепил на наших головах провода космического «радио», смутно надеясь получить, хоть в эти последние часы, первое и единственное послание из загадочного мира сна. В палате кроме меня был еще санитар, простоватый парень, ничего не смысливший в моем устройстве и не пытавшийся расспрашивать меня о цели моих манипуляций. Часы тянулись медленно; я заметил, что голова санитара свесилась на грудь, но не будил его. Вскоре я и сам, убаюканный равномерным дыханием здорового человека и умирающего, должно быть, задремал.

Меня разбудили звуки странной музыки. Аккорды, отзвуки, экстатические вихри мелодий неслись отовсюду, а перед моим восхищенным взором открылось захватывающее зрелище неизъяснимой красоты. Стены, колонны, архитравы, как бы наполненные огнем, ослепительно блистали со всех сторон. Я же, находившийся в центре, казалось, парил в воздухе, устремляясь ввысь, к огромному, уходящему в бесконечность своду, великолепие которого я бессилен описать. Рядом с величественными дворцами (а точнее сказать, время от времени вытесняя их в калейдоскопическом вращении) появлялись бескрайние равнины, мирные долины, высокие горы, уютные гроты. Я сам мог прибавлять им очарования: стоило мне подумать о чем-то, что могло украсить их еще больше, и это тут же возникало, вылепляясь по моему желанию из некой сверкающей, легкой и податливой субстанции, в которой равно присутствовали и материя, и дух. Созерцая все это, я быстро осознал, что во всех восхитительных метаморфозах

повинен мой мозг: каждый новый открывающийся передо мной вид был именно таким, каким его хотело видеть мое переменчивое воображение. Я не чувствовал себя чужим в этом раю: мне был знаком каждый его уголок, каждый звук, как будто я обитал здесь и буду обитать вечно.

Затем ко мне приблизилась сверкающая аура моего солнечного собрата, и у нас завязался разговор – душа с душой, бессловесный и полный обмен мыслями. Приближается час его триумфа, скоро он отбросит сковывающую его тленную плоть, навсегда освободится от нее и ринется за своим ненавистным врагом в отдаленный уголок Вселенной, где огнем свершит грандиозное возмездие, которое заставит дрожать небесные сферы. Мы парили рядом, но вот я заметил, как вокруг нас начали меркнуть и исчезать предметы, будто некая сила призывала меня на Землю, куда мне так не хотелось возвращаться. Существо рядом со мной, казалось, почувствовало это и стало заканчивать беседу, готовясь к расставанию, однако оно удалялось от меня с меньшей скоростью, чем все остальное. Мы обменялись напоследок несколькими мыслями, и я узнал, что еще встречу со сверкающим братом, но уже в последний раз. Сдерживающая его жалкая оболочка должна вот-вот распасться, меньше чем через час он будет свободен и погонит своего врага по Млечному Пути, мимо ближних звезд к самым границам Вселенной.

Весьма ощутимый толчок отделял последние картины постепенно затухающего света от моего резкого, сопровождаемого чувством неопределенной вины перехода в состояние бодрствования. Я сидел, выпрямившись на стуле, глядя, как умирающий беспокойно мечется на койке. Джо Слейтер, несомненно, просыпался, хотя, по-видимому, уже в последний раз. Вглядевшись, я заметил, что на его впалых щеках появился отсутствовавший доселе румянец. Плотно сжатые губы тоже выглядели необычно, словно принадлежали человеку с более сильным, чем у Слейтера, характером. Мускулы лица окаменели, глаза были закрыты, но тело конвульсивно сотрясалось.

Я не стал будить санитаров, а, напротив, поправив съехавшие наушники телепатического «радио», ждал последних, прощальных сигналов, которые мог передать мне спящий. Тот же внезапно повернул ко мне голову, открыл глаза, и я остолбенел: катскиллский вырожденец Джо Слейтер смотрел на меня не прежними выцветшими глазками, а широко распахнутыми огненными очами. В его взгляде не было ни безумия, ни тупости. Никаких сомнений – на меня глядело существо высшего порядка.

В то же самое время мой мозг начал ощущать настойчивые сигналы извне. Чтобы лучше сосредоточиться, я закрыл глаза и тут же был вознагражден отчетливо уловленной мною мыслью: «Наконец-то мое послание достигло тебя». Теперь каждая посылаемая информация мгновенно усваивалась мною, и, хотя при этом не использовался ни один язык, мой мозг привычно переводил ее на английский.

«Джо Слейтер умер», – произнес леденящий душу голос, пришедший с той стороны сна. За этим, однако, не последовало то, чего я с ужасом ожидал – страданий, мук агонии, – голубые глаза смотрели на меня так же спокойно, выражение лица было таким же одухотворенным.

«Хорошо, что он умер, он не способен быть носителем космического сознания. Его грубая натура не смогла приспособиться к неземному бытию. В нем было больше от животного, чем от человека, однако только благодаря его невежеству ты узнал меня, ибо космическим и планетарным душам лучше не встречаться. Ведь он в течение сорока двух земных лет ежедневно переживал мучительные пытки.

Я – то существо, каким бываешь и ты сам в свободном сне без сновидений. Я – твой солнечный брат, с которым ты парил в сверкающих долинах. Мне запрещено открыть твоему дневному, земному естеству, кем ты являешься в действительности; знай только, что все мы странники, путешествующие через века и пространства. Спустя год я, возможно, попаду в Египет, который вы зовете древним, или в жестокую империю Тцан Чана, чье время придет через три тысячи лет. Мы же с тобой странствовали в мирах, вращающихся вокруг красной звезды

Арктур, пребывая в обличье насекомых-философов, которые горделиво ползают по четвертому спутнику Юпитера. Как мало знает земной человек о жизни и ее пределах! Но больше ему, ради его же спокойствия, и не следует знать.

О моем враге мне нельзя говорить. Вы, на Земле, интуитивно ощущаете его отдаленное присутствие – не даром этот мерцающий маяк Вселенной вы нарекли Алголь, что означает „Звезда-Дьявол“. Тщетно пытался я вырваться в вечность, чтобы встретиться с соперником и уничтожить его, – мне мешала земная оболочка. Этой же ночью я, подобно Немезиде, свершу праведное возмездие, которое ослепит и потрясет космическое пространство. Ищи меня в небе неподалеку от „дьявольской звезды“.

Я не могу больше говорить: тело Джо Слейтера застывает, его грубый мозг перестает мне повиноваться. Ты был моим единственным другом на этой планете, единственным, кто прозрел меня в этой отвратительной оболочке, лежащей сейчас на койке, и стал искать ко мне путь. Мы вновь встретимся – может, это случится в светящейся туманности пояса Ориона, может, на открытых плоскогорьях доисторической Азии, может, сегодня во сне, который ты под утро забудешь, а может, в каких-то новых формах, которые обретет вечность после гибели Солнечной системы».

На этом импульсы прекратились, а взгляд светлых глаз спящего – или точнее сказать мертвеца? – потух. Еще не придя в себя от изумления, я подошел к постели больного и взял его руку – она была холодна и безжизненна, пульс отсутствовал. Впалые щеки вновь побледнели, рот приоткрылся, обнажив омерзительные гнилые клыки дегенерата Джо Слейтера. Я поежился, натянул одеяло на уродливое лицо и разбудил санитаря. После чего ушел из палаты и молча направился в свою комнату, почувствовав внезапную и неодолимую потребность забыться и видеть сны, которые не смогу вспомнить.

А кульминация? Но разве можно требовать от простого изложения событий, представляющих научный интерес, художественной завершенности? Я просто записал некоторые вещи, показавшиеся мне любопытными, вы же можете толковать их по-своему. Как я уже упоминал, мой шеф, старый доктор Фентон, не верит ничему из рассказанного мною. Он убежден, что у меня было сильнейшее нервное переутомление и что я срочно нуждаюсь в длительном оплаченном отпуске, каковой он мне великодушно предоставил. Исходя из своего профессионального опыта, доктор уверяет меня, что у Джо Слейтера был параноидальный синдром, а его фантастические рассказы почерпнуты из народных преданий, существующих даже у самых отсталых сообществ. Что бы он ни говорил, я не могу забыть того, что увидел на небе в ночь после смерти Слейтера. Если вы считаете меня сомнительным свидетелем, то окончательное заключение пусть выведет другое перо, что, возможно, и станет желаемой кульминацией. Позволю себе привести следующее описание звезды *Nova Persei*, сделанное знаменитым астрономом Гарретом П. Сервиссом: «22 февраля 1901 года доктор Андерсон из Эдинбурга открыл новую удивительную звезду неподалеку от Алголя. Ранее на этом месте ее не наблюдали. Через 24 часа незнакомка разгорелась настолько, что по своей яркости превзошла Капеллу. Спустя неделю-другую она потускнела, однако на протяжении еще нескольких месяцев ее можно было, хотя и с трудом, различить невооруженным глазом».

Полярная звезда

В мое северное окно жутковато светит Полярная звезда. Сияет долгими адскими часами непроницаемой темноты. И когда на календаре осень и ветры с севера завывают и проклинаят все подряд, а в короткие утренние часы под убывающим месяцем красноватые кроны деревьев на болоте перешептываются друг с другом, я сижу возле окна и наблюдаю за этой звездой. Проходят часы, и Кассиопея соскальзывает вниз, тогда как Большая Медведица выползает из-за пропитанных болотными испарениями деревьев, покачиваемых ночным ветром. Перед самым рассветом Арктур красновато мигает над расположенным на возвышении кладбищем, а Волосы Вероники загадочно подмигивают с таинственного востока, но Полярная звезда продолжает злобно светить на том же самом месте на черном своде, мерзко помигивая, как вцепившийся болезненный взгляд силящегося передать какое-то загадочное сообщение, однако неспособного вспомнить ничего, помимо лишь того факта, что когда-то обладал этим известием. Иногда, когда на небе пасмурно, мне удается заснуть.

Я хорошо помню ночь большого северного сияния, когда над болотом поигрывал ужасающими вспышками дьявольский огонь. Только когда его закрыли облака, мне удалось заснуть.

Под убывающим месяцем я впервые увидел город. Он лежал, тихий и сонный, на странном плато высоко в горах между двумя странными пиками. Стены и башни его были из мертвенно-бледного мрамора, как и его колонны, купола и мостовые. На мраморных улицах возвышались мраморные столпы, на верхней части которых были вытесаны лица суровых бородатых мужей. Воздух был теплым и неподвижным. И над всем этим, всего в десяти градусах от зенита, сияла эта стерегущая Полярная звезда. Я долго рассматривал город, но день все не наступал. Когда красный Альдебаран, мерцающий низко над горизонтом, но никогда не заходящий, прополз четверть своего круга, я заметил огни и движение в домах и на улицах. Обитатели, одетые странно, но в то же время благородные и знакомые мне, прогуливались и говорили под убывающим месяцем мудрые слова на языке, который оказался мне вполне понятен, хотя и не был похож ни на какой из известных мне языков. И когда красный Альдебаран совершил еще чуть более половины своего кругового пути, снова установились темнота и молчание.

Пробудившись, я оказался уже не тем, кем был раньше. Над моей памятью тяготело видение города, а в душе вставало другое смутное воспоминание, в природе которого я тогда не был уверен. После этого в те ночи, когда было облачно и я мог спать, я зачастую видел город; иногда его согревали желтые горячие лучи солнца, которое не закатывалось, а описывало круг низко над горизонтом. А в ясные ночи Полярная звезда глядела так злобно, как никогда раньше.

Со временем я стал задумываться: какова моя роль в этом городе на странном горном плато между странными пиками? Сначала я довольствовался наблюдением за его жизнью в качестве вездесущего бестелесного зрителя, но затем у меня возникло желание определить свое отношение к ней и высказывать свои мысли тем суровым людям, которые каждый день вели беседы на общественных площадях. Я сказал себе: «Это не сон, ибо чем я могу доказать, что более реальна та, другая жизнь в доме из камня и кирпича к югу от мрачного болота и кладбища на пригорке, где каждую ночь в мое северное окно заглядывает Полярная звезда?»

Однажды ночью, слушая ораторов на большой площади, где стояло множество статуй, я ощутил в себе перемену и внезапно понял, что перестал быть призраком и обрел материальную форму. Я больше не был чужеземцем на улицах Олатое, города, расположенного на плато Саркиа между пиками Нотон и Кадифонек. В этот момент говорил мой друг Алос, и речь его радовала мою душу, ибо это была речь настоящего мужа и патриота. Этой ночью поступило известие о падении Дайкоса и наступлении инутов, злобных желтокожих карликов, появившихся пять лет назад откуда-то с запада, опустошавших приграничные области нашего королевства и осаждавших многие наши города. Захватив укрепления у подножия гор, они могли теперь

вторгнуться на плато, пусть даже каждый гражданин будет сражаться с ними за десятерых. Эти коренастые негодяи были сильны в военном искусстве и не придерживались понятий чести, которые удерживали наших рослых сероглазых ломарцев от завоевательных походов.

Алос, мой друг, был командующим всех сил плато и нашей последней надеждой. Спокойно и уверенно он говорил о нависшей над нами угрозе и призывал жителей Олатое, храбрейших из ломарцев, вспомнить славные традиции предков, которые, когда им пришлось двинуться на юг из Зобны, отступая от надвигающегося ледника (когда-нибудь и нашим потомкам придется отступить от него же с земель Ломара), доблестно разгромили волосатых длинноруких каннибалов гнопкехов, преграждавших им путь. Мне Алос не позволил участвовать в боях, потому что я был слабым и подвержен непонятным обморокам при физических и нервных нагрузках. Но мои глаза считались горожанами самыми зоркими, поскольку я ежедневно долгие часы изучал Пнакотические рукописи и премудрость Зобнийских Отцов, поэтому мой друг, не желая моей бесполезной гибели в схватке, оказал мне великую честь, доверив один из важнейших постов. Он отправил меня на сторожевую башню Тапнен, где я должен был послужить глазами его армии. Если инуты попытаются пробраться к цитадели по узкому проходу, огибающему пик Нотон, чтобы захватить гарнизон врасплох, мне следовало огнем подать сигнал, предупредить воинов и спасти город от такой угрозы.

Я в одиночестве отправился на башню, потому что все крепкие телом люди были нужны для обороны горных проходов. Мой мозг был болезненно возбужден и сильно утомлен, ибо я не спал несколько суток, но намерения мои были твердыми, поскольку я любил свою родную страну Ломар и мраморный город Олатое, лежащий между пиками Нотон и Каdifонек.

Но когда я оказался на самом верхнем этаже башни, то увидел серп убывающего месяца, красный и зловещий, мерцающий сквозь дымку испарений над далекой впадиной Баноф. А через окошко в кровле смотрела бледная Полярная звезда, подрагивающая, словно живая, и глядящая искоса, словно недруг и искуситель. Мне показалось, что душа ее вкрадчиво нашептывает, убаюкивая меня и внушая предательскую дремоту отвратительным рифмованным обещанием, повторяемым снова и снова:

Дремлешь, наблюдатель, до поры,
Шесть и двадцать тысяч лет минует,
И тогда вернешься в тот же круг,
Где горят в очаянье миры.
Звезды светят яростно, в злобе,
Притупляя боль, суля забвенье,
Но едва забудешь опасенья —
Постучится прошлое к тебе.

Тщетно я боролся с овладевающей мной дремотой, пытаюсь сопоставить как-то эти странные слова со знаниями, почерпнутыми из Пнакотических рукописей. Моя голова отяжелела и, покачиваясь, склонилась на грудь, а когда я снова поднял взгляд, уже во сне, из окна на меня злорадно смотрела Полярная звезда над зловеще покачивающимися деревьями на спящем болоте. И мне не удалось проснуться.

Охваченный стыдом и отчаяньем, я кричал время от времени, умоляя снявшихся мне существ разбудить меня, потому что инуты могут прокрасться через проход, огибающий пик Нотон, и захватить цитадель врасплох, но эти существа, демоны, смеялись надо мною и говорили, что я брежу. Они насмеялись надо мною, спящим, а коренастые желтокожие враги уже, наверное, молчаливо подбирались к оборонявшимся. Я не справился со своим заданием и предал мраморный город Олатое. Я не оправдал надежды Алоса, моего друга и командира. Но призраки из моего сна по-прежнему смеются надо мной. Они говорят, что страна Ломар суще-

ствует только в моих видениях; что в тех краях, где Полярная звезда стоит высоко, а красный Альдебаран крадется вдоль горизонта, уже давно, тысячи лет, нет ничего, кроме снега и льда, и обитают только низкорослые желтокожие туземцы, прозябающие в этом холодном крае и называемые эскимосами.

Терзаемый чувством вины, отчаянно пытаюсь спасти город, отвести от него угрозу, я безуспешно старался пробудиться от этого чудовищного сна, в котором я пребываю в доме из камня и кирпича к югу от мрачного болота и кладбища на пригорке, где каждую ночь в мое северное окно заглядывает Полярная звезда, злобная и чудовищная, посматривает с черного небосвода, издевательски подмигивая, как уставившийся глаз сумасшедшего, силящегося передать какую-то вест, но неспособного вспомнить ничего, кроме того, что когда-то знал какое-то известие.

Показания Рэндольфа Картера

Повторяю вам, джентльмены: дознание, которое вы проводите, не даст никакого результата. Хотя целую вечность удерживайте меня здесь, заточите в темницу, казните меня – если считаете нужным принести жертву мнимому божеству, что зовется «правосудием», – ничего нового вы от меня не услышите. Я рассказал все, что помню, поведал как на духу, ничего не скрывая и не искажая, а если что осталось непроясненным – виной тому мгла, застилавшая мой рассудок, и непостижимая природа тех ужасов, что ее вызвали.

Повторяю: я не знаю, что случилось с Харли Уорреном, хотя думаю – по крайней мере, надеюсь, – что он пребывает в безмятежном забытии, если, конечно, столь благословенная вещь вообще существует. Истинно то, что на протяжении пяти лет я был его ближайшим другом и верным спутником в опаснейших изысканиях в области неизведанного. Не стану также отрицать – особенно потому, что моя собственная память стала слаба, – что человек, который свидетельствовал здесь, вполне мог видеть нас вдвоем в ту страшную ночь в половине двенадцатого на Гейнсвилльском пике, направляющихся, по его словам, в сторону Большой кипарисовой топи. То, что мы несли электрические фонари, лопаты и моток провода, соединяющий какие-то аппараты, я готов подтвердить и под присягой, ибо эти предметы играли важную роль в той чудовищной истории, разрозненные фрагменты которой глубоко врезались мне в память, как бы та ни была слаба и ненадежна. Но о том, что произошло впоследствии и почему меня обнаружили наутро на краю болота одного и в невменяемом состоянии, – я не способен поведавать ничего помимо того, что уже устал вам повторять. Вы утверждаете, что ни на болоте, ни где-либо рядом нет места, подходящего под описанный мною кошмарный эпизод. Я повторяю, что только описываю увиденное собственными глазами. Было это видением или бредом – о, я надеюсь, что видением или бредом! – не знаю, но это все, что сохранилось в моей памяти от тех страшных часов, когда мы пребывали исключительно друг с другом, вдали от прочих людей. И на вопрос, почему Харли Уоррен не вернулся, способен ответить только он сам, или его тень, или та сущность, для которой у меня нет названия и которую я не в силах описать.

Я не скрывал, что не только был в курсе того, какого рода изысканиям посвящает себя Харли Уоррен, но и отчасти принимал в них участие. Я прочитал все книги из его обширной коллекции старинных раритетов на запретные темы, что написаны на языках, которыми я владею; таких, однако, оказалось меньшинство по сравнению с фолиантами, исписанными абсолютно не понятными мне значками. Большая часть из них, насколько я могу судить, были арабскими, но та вдохновенная нечистой силой книга, что привела к чудовищной развязке – он унес ее с собой в кармане, – была написана знаками, подобных которым я нигде и никогда не встречал. Уоррен же ни за что не соглашался открыть мне, о чем она. Что же касается характера наших штудий – могу лишь повторить, что теперь уже не вполне это представляю. И, говоря откровенно, даже рад своей забывчивости, потому что в целом они были жутковаты, и я принимал участие скорее с деланным энтузиазмом, нежели с искренним интересом. Уоррену всегда удавалось помыкать мною, и я его отчасти даже побаивался. Помню, мне стало не по себе от выражения его лица накануне этого ужасного происшествия, когда он увлеченно излагал мне свои соображения относительно того, почему некоторые трупы не разлагаются, но тысячелетиями лежат в могилах, неподвластные тлену. Но теперь я не боюсь его; сам он, похоже, столкнулся с такими ужасами, по сравнению с которыми мой страх ничто. Теперь я боюсь за него.

Повторяю снова, что не имею внятного представления о наших намерениях той ночью. Несомненно лишь, что это было тесным образом связано с книгой, которую Уоррен захватил с собой, – упомянутой уже древней книгой, написанной непонятным алфавитом, полученной им по почте из Индии месяц назад, – но, клянусь, я не знаю, что именно мы предполагали найти.

Свидетель утверждает, что видел нас в половине двенадцатого на Гейнсвилльском пике направляющимися в сторону Большой кипарисовой топи. Возможно, так оно и было, но в памяти у меня все расплывчато. Врезалась мне в душу и опалила ее сцена, явно имевшая место значительно позже; полагаю, было уже далеко за полночь, поскольку серп луны застыл высоко в мглистых небесах.

Окружало нас старое кладбище, настолько древнее, что я испытывал трепет, глядя на многочисленные приметы глубокой старины. Располагалось оно в глубокой сырой ложине, заросшей мхом, редкой травой и причудливо стелющимися сорняками. Неприятный запах в этой ложине в моем воображении абсурдным образом вязался с гниющим камнем. Нас окружали дряхлость и запустение, и меня не покидала мысль, что за многие века мы с Уорреном – первые живые существа, нарушившие безмятежность здешних могил. Бледная ущербная луна тускло проглядывала над краем ложбины сквозь нездоровые испарения, струившиеся, казалось, из каких-то невидимых катакомб, и в ее слабом свете я различал злое очертания древних плит, урн, кенотафов и фасадов мавзолеев; все это было разрушающимся, поросшим мхом, потемневшим от времени и наполовину скрытым в буйно разросшейся вредоносной растительности.

Мое первое яркое впечатление от этого чудовищного некрополя: мы с Уорреном остановились возле какой-то древнего вида гробницы и скинули на землю то, что принесли с собой. Возле меня лежали две лопаты и электрический фонарь, а возле моего спутника – точно такой же фонарь и переносные телефонные аппараты. Мы не проронили ни слова – и место, и наша цель были нам, похоже, хорошо известны – и, не теряя времени, взялись за лопаты и принялись счищать траву, сорняки и налипшую землю с древнего плоского надгробья. Расчистив крышу склепа, составленную из трех тяжелых гранитных плит, мы чуть отошли назад, посмотреть со стороны на представшую нам картину, а Уоррен, похоже, делал в уме какие-то прикидки. Вернувшись к гробнице, он, орудуя лопатой как рычагом, попытался приподнять плиту, ближайшую к груде камней, которая, должно быть, в свое время представляла собой памятник. Не преуспев в этом, он жестом позвал меня на помощь. Совместными усилиями мы расшатали каменный блок, приподняли его и поставили на торец.

На месте удаленной плиты зиял черный провал, из которого хлынули настолько тошнотворные миазмы, что мы в ужасе отпрянули. Спустя некоторое время, когда испарения стали менее густыми, мы снова приблизились к яме. Наши фонари осветили верхние ступени, сочащиеся какой-то мерзкой подземной сукровицей, каменной лестницы, ограниченной по сторонам влажными стенами с налетом селитры. Именно тогда прозвучали первые сохранившиеся в моей памяти слова – их произнес Уоррен, обращаясь ко мне, и голос его, несмотря на кошмарную обстановку, был таким же спокойным, как всегда.

– К великому сожалению, – сказал он, – вынужден просить тебя оставаться здесь, наверху. Было бы преступлением с моей стороны позволить человеку с такими слабыми нервами, как у тебя, спуститься туда. Ты не можешь даже вообразить, несмотря на все прочитанное и услышанное от меня, что суждено увидеть и совершить мне. Это дьявольская миссия, Картер, и нужно обладать стальными нервами, чтобы, после всего того, что предстоит мне увидеть внизу, вернуться в наш мир живым и в здравом уме. Не хочу обидеть тебя, и, видит Бог, я рад, что сейчас ты со мной, но вся ответственность за предстоящее в некотором роде лежит на мне, а я не считаю себя вправе приводить такой сгусток нервов, как ты, к порогу возможной смерти или безумия. Твоему воображению недоступно то, что ждет меня там! Но обещаю ставить тебя в известность по телефону о каждом своем движении, а провода, как видишь, у нас хватит до центра Земли и обратно.

Эти бесстрастно произнесенные слова все еще звучат у меня в ушах, и я хорошо помню свои протесты. Я отчаянно упрашивал его взять меня с собой в глубины гробницы, но он оставался неумолимым и даже пригрозил, что откажется от своего замысла, если я буду продол-

жать настаивать. Именно эта угроза и подействовала, ибо лишь у него был ключ к тайне. Этот момент я хорошо помню, а вот чего ради мы туда прибыли – сказать теперь не могу. Добившись от меня безусловного согласия во всем слушаться его, Уоррен поднял с земли провод и подключил аппараты. Я взял один из них и уселся на старый заплесневелый камень рядом с проходом в гробницу. Уоррен пожал мне руку, накинул моток провода на плечо и начал спускаться в недра мрачного склепа.

С минуту мне были видны отсветы его фонаря и слышно шуршание скидываемого витками с плеча провода, но потом свет резко исчез, будто лестница сделала резкий поворот, и почти тут же стихли и звуки. Я остался в одиночестве, хотя и со связью с неведомыми безднами через волшебную нить, изоляция которой зеленовато отсвечивала в слабых лучах лунного серпа.

Я то и дело светил фонарем на циферблат часов и с лихорадочным беспокойством прижимал ухо к телефонной трубке, однако на протяжении четверти часа так и не услышал ни звука. Потом в трубке раздался слабый треск, и я в тревоге выкрикнул в нее имя своего друга. Несмотря на терзающие меня предчувствия, я оказался никак не готов услышать те слова, что устройство донесло до меня из глубин чертова склепа, произнесенные таким встревоженным, дрожащим голосом, что я не сразу опознал Харли Уоррена. Еще совсем недавно такой невозмутимый и бесстрастный, теперь он говорил шепотом, звучащим страшнее, чем душераздирающий вопль:

– Боже! Если бы ты только мог видеть то, что вижу я!

Я не смог вымолвить ни слова. Только безмолвно ждал. Затем испуганный шепот продолжил:

– Картер, это ужасно... чудовищно... невообразимо!

Наконец я смог совладать со своим голосом и разразился потоком полных тревоги вопросов. Вне себя от ужаса я повторял снова и снова:

– Уоррен, что там? Что там?

Я вновь услышал голос друга – искаженный страхом голос, в котором были отчетливо слышны нотки отчаяния:

– Я не могу сказать тебе, Картер! Это выше всякого понимания... я не должен говорить тебе... никакой человек не способен выжить, узнав об этом! Великий Господь! Я ожидал чего угодно, но только не такого!

В трубке установилось молчание, несмотря на бессвязный поток вопросов с моей стороны. Потом опять прозвучал голос Уоррена – похоже, на высшей ступени уже не сдерживаемого ужаса:

– Картер, во имя любви к Господу, верни плиту на место и беги отсюда, пока не поздно! Скорее! Сделай так и убегай скорее – это твой единственный шанс на спасение! Делай, как я говорю, и ни о чем не спрашивай!

Я слышал это и тем не менее продолжал испуганно повторять вопросы. Вокруг меня были могилы, тьма и тени; внизу подо мной – ужас, недоступный человеческому пониманию. Но мой друг пребывал в еще большей опасности, чем я, и, несмотря на испуг, мне было обидно, что он полагает меня способным бросить его в таких обстоятельствах. В трубке прозвучали еще несколько щелчков, а затем отчаянный вопль Уоррена:

– Уматывай скорее! Ради Бога, столкни плиту на место и уматывай отсюда, Картер!

То, что мой спутник опустился до просторечных выражений, свидетельствовало о крайней степени его потрясения, и это оказалось последней каплей. Приняв вдруг решение, я прокричал:

– Уоррен, держись! Я спускаюсь к тебе!

На эти слова трубка откликнулась воплем, в котором сквозило уже полное отчаяние:

– Не делай этого! Ты не понимаешь!.. Уже слишком поздно... И лишь я один виноват! Столкни плиту и беги – мне уже никто не поможет!

Тон Уоррена опять изменился – сделался мягче, в нем стала слышна горечь безнадёги, но при этом ясно звучала тревога за мою судьбу.

– Скорее, а то будет поздно!

Я пытался не слишком вслушиваться в его увещания, стараясь стряхнуть сковавший меня паралич и броситься ему на помощь. Но когда он обратился ко мне в очередной раз, я все еще сидел без движения, скованный леденящим ужасом.

– Картер, торопись! Не теряй времени! Все бесполезно... тебе нужно уходить... лучше я один, чем мы оба... плиту...

Пауза, щелчки, и вслед за тем слабый голос Уоррена:

– Почти все кончено... не продлевай этого... завали вход на чертову лестницу и беги со всех ног... ты зря теряешь время... прощай, Картер... прощай навсегда...

Внезапно Уоррен перешел с шепота на крик, переходящий в вопль, исполненный тысячелетнего ужаса:

– Будь они прокляты, эти исчадия ада!.. их здесь легионы!.. Господи!.. Беги! Беги! БЕГИ!

После этого наступила тишина. Бог знает сколько тысячелетий я просидел ошеломленный, бормоча, взывая и выкрикивая в телефонную трубку. Уходило тысячелетие за тысячелетием, а я все сидел и шептал, звал, кричал и вопил:

– Уоррен! Уоррен! Ответь мне – ты все еще здесь?

А потом на меня обрушился ужас, явившийся апофеозом всего происшедшего – невыносимый, невообразимый и почти необъяснимый. Я уже сказал, что, казалось, многие тысячелетия миновали с тех пор, как Уоррен выкрикнул последнее отчаянное предупреждение, и с тех пор лишь мои крики нарушали гробовую тишину. Однако спустя все это время в трубке снова раздались щелчки, и я весь обратился в слух.

– Уоррен, ты здесь? – снова позвал я, но в ответ мой рассудок накрыло беспроглядной мглой. Я даже не пытаюсь дать себе отчет о том, что именно имею в виду, джентльмены, и не решаюсь как-то описать это, ибо первые же услышанные мною слова лишили меня чувств и привели к тому провалу в памяти, что продолжается вплоть до момента моего пробуждения в больнице. Имеет ли смысл говорить о том, что голос казался низким, вязким, глухим, отдаленным, замогильным, нечеловеческим, бесплотным? Что еще могу я рассказать? На этом заканчиваются мои воспоминания, и далее я не способен поведать ничего. Услышав этот голос, донесшийся из глубин зияющего спуска в склеп, я впал в беспамятство – на неведомом кладбище в глубокой сырой лощине, в окружении крошащихся плит и покосившихся надгробий, где все оплетено растениями и пропитано зловонными испарениями – и сидел, оцепенело наблюдая за пляской под бледной ущербной луной бесформенных, питающихся трупами теней.

А произнес он вот что:

– Идиот! Уоррен МЕРТВ!

Улица

Некоторые уверяют, что у предметов, которыми мы пользуемся, и мест, в которых мы бываем, есть души, впрочем, встречаются и такие, кто заявляет, что ни у мест, ни у предметов души не бывает; я не отваживаюсь сам судить об этом, но просто расскажу вам про Улицу.

Мужи силы и чести проложили своими стопами эту Улицу, отважные мужчины нашей крови, прибывшие с Благословенных островов, переплыв море. Изначально Улица была лишь тропой, протоптанной водоносами от лесного ручья к кучке домов возле побережья. Затем, когда прибыли новые поселенцы и стали подыскивать место для житья, они поставили свои лачуги вдоль северной стороны тропы; лачуги из прочных дубовых бревен и обложенные камнями со стороны леса, в котором скрывались индейцы с зажигательными стрелами. А через несколько лет появились дома и на южной стороне Улицы.

Обычно по Улице проходили серьезные мужи в конических шляпах, редко расстававшиеся с мушкетами и силками. А также прогуливались их жены в дамских шляпках и послушно ведущие себя дети. По вечерам те мужи со своими женами и детьми рассаживались возле очагов и читали и беседовали. То, о чем они читали или беседовали, было бесхитростным, но питало их мужество и добродетель, давало поддержку в освоении лесов и возделывании полей. И дети, слушая, узнавали о законах и деяниях предков, о той славной Англии, которую никогда не видели или уже не помнили.

Затем случилась война, и индейцы после более не беспокоили Улицу. Те мужи, что прилежно трудились, достигли процветания и были счастливы в полную меру своих представлений об этом. Дети росли, ни в чем не нуждаясь, и со старой родины прибывали новые семьи, чтобы поселиться на Улице. И дети прежних детей, и дети новоприбывших становились взрослыми. Городок стал городом; лачуги одна за другой сменялись домами – незатейливыми замечательными зданиями из кирпича и дерева, с каменными ступенями и железными поручнями у входа и фонарями над парадной дверью. Дома эти строились основательно, с расчетом, что они будут служить многим поколениям. Внутри них изгибались изящные лестницы, выступали резные каминные полки и была со вкусом подобранная обстановка, фарфор и серебро, привезенные с прежней родины.

В то время Улица была напоена мечтами молодого поколения и радостью от того, что ее обитатели становились все более элегантны и счастливы. Где прежде обитали лишь сила и честь, теперь обосновались изящный вкус и ученость. Книги, картины и музыка поселялись в домах, и молодежь потянулась в университет, выросший на равнине к северу. Конические шляпы и шпаги, кружева и белоснежные парики сменились стуком копыт по булыжным мостовым и грохотом множества позолоченных экипажей; вдоль выложенных кирпичом тротуаров появились стойла и навесы для лошадей.

Вдоль Улицы росло немало деревьев: вязы и дубы и благородные клены, и потому летом Улица наполнялась нежной зеленью и птичьими трелями. И за домами разбили розовые сады с солнечными часами и живой изгородью, в которых по вечерам очаровательно сияют луна и звезды и искрятся от росы благоухающие цветы.

Таким образом, после войны, бедствий и перемен, Улица погрузилась в прекрасный сон. Однажды большинство молодых людей покинули ее, и некоторые уже не вернулись. Это было в том же году, когда свернули старый флаг и подняли новый, звезднополосатый. Но хотя люди говорили о значительных переменах, Улица их не ощущала, ибо ее обитатели остались теми же, обсуждали те же семейные дела в прежних родовых поместьях. И деревья надежно укрывали певчих птиц, а по вечерам очаровательно сияли луна и звезды и искрились от росы благоухающие цветы в садах с живой изгородью.

Со временем на Улице перестали встречаться шпаги, треуголки и парики. Как странно смотрелись теперь некоторые ее обитатели – с тросточками, невероятными бородами и коротко остриженными головами! Издали стали доноситься новые звуки – сперва со стороны реки, проходящей в миле от Улицы, раздались странное пыхтение и скрежет, и через несколько лет странное пыхтение и скрежет, а то и грохот слышались с самых разных направлений. Воздух не был уже так чист, как прежде, но дух этого места не изменился. Кровь и души предков лежали в основе Улицы, под тротуарами и мостовой. Дух не изменился, даже когда землю разрыли, чтобы проложить странные трубы, и когда установили высокие столбы с непонятной проволокой. На Улице было так много древнего, что забыть о прошлом оказалось непросто.

Но время невзгод наступило, и многие, издавна жившие на Улице, покинули ее, а множество не живших на Улице прежде – поселились здесь, их произношение было грубым и резким, а лица казались неприятными. Мысли их тоже вступали в противоречие с мудрым, справедливым духом Улицы, и Улица молча изнемогала, в то время как дома разрушались, деревья вымирали одно за другим, а в садах буйно разрастались сорняки и копился мусор. Но однажды Улица снова ощутила чувство гордости, когда по ней промаршировали молодые мужчины, некоторые из которых затем никогда не вернулись. Молодые мужчины в голубых мундирах.

Со временем участь Улицы становилась все более тяжелой. Она лишилась деревьев, а на месте садов оказались задние двory дешевых, уродливых новых зданий на параллельных улицах. Дома еще стояли, несмотря на разрушительное действие лет, бурь и червей, ведь они строились с расчетом, что будут служить многим поколениям. Новая разновидность лиц появилась на Улице: смуглые, зловещие лица с хитрыми глазами и странными чертами, владельцы которых произносили незнакомые слова и развесили на многих обветшалых домах вывески, содержащие как знакомые, так и незнакомые буквы. Мусор с ручных тележек переполнил сточные канавы. Противное, трудноопределимое зловоние поселилось в этих местах, а древний дух уснул.

Однажды великое волнение взбудоражило Улицу. Далеко за морями бушевала война и революция, гибли династии, их выродившиеся представители перебрались с сомнительными целями на земли Запада. Много таких оказалось среди поселившихся в обветшалых домах, что когда-то знали птичье пение и аромат роз. Однако земли Запада тоже пробудились и присоединились к титанической борьбе прежней родины за цивилизацию. Над городами снова взвился старый флаг, правда, в сопровождении флага нового – трехцветного, незамысловатого, но приятного на вид. Но на Улице флагов было мало, ибо там обитали лишь страх, ненависть и безразличие. Снова по ней промаршировали молодые мужчины, но не похожие на тех, прежних. Что-то оказалось потеряно. Сыновья молодых мужчин прежних времен, одетые в оливково-серую форму и несущие истинный дух своих предков, прибыли сюда из отдаленных земель и не знали ни Улицу, ни древнего духа этих мест.

За морями была одержана великая победа, и большинство этих юношей с триумфом вернулись. Те, кто прежде нуждался, теперь не прозябали в нужде, однако страх, ненависть и безразличие по-прежнему обитали на Улице, ибо многие пришедшие так и продолжали жить здесь, и множество чужаков приехали из далеких мест и поселились в древних домах. А те молодые мужчины, что вернулись, не желали более жить в этом месте. Смуглы и зловещи были лица большинства чужаков, но все же изредка среди них попадались такие же, как основатели Улицы, создавшие ее дух. Похожие и в то же время непохожие, ибо у всех в глазах жил сверхъестественный нездоровый блеск жадности, амбиций, мстительности или странно устремленного усердия. Тревога и предательство поселились среди озлобленных людей, плетущих интриги, чтобы нанести смертельный удар по землям Запада и захватить власть над руинами, и в то же время фанатики-убийцы стекались в ту несчастную, морозную страну, откуда были родом большинство чужаков. Сердцем этого заговора стала Улица, обшарпан-

ные дома которой кишели чужаками, сеятелями беспорядка, вынашивающими планы и жаждущими наступления назначенного дня крови, огня и смертоубийства.

По отношению к различным группам, обосновавшимся на Улице, Закон мог сказать очень много, но мало что мог сделать. С величайшей осмотрительностью люди с тайными опознавательными знаками засиживались и беседовали в «Пекарне Петровича», в убогой «Школе современной экономики Рифкина», в «Клубе для встреч» и в кафе «Свобода». Там собирались в большом количестве зловещие люди и почти всегда говорили речи на иностранном языке. Тем не менее старинные дома продолжали стоять, сохраняя в себе забытые знания о благородстве минувших веков, о солидных колонистах и цветах, искрящихся от росы в лунном свете. Иногда какой-нибудь поэт или путешественник обращал на них внимание и пытался описать их в свете минувшей славы, но таких путешественников и поэтов было немного.

Широко распространился слух, что в этих зданиях засели главари огромной банды террористов, планирующих начать в назначенный день оргию кровопролития ради разрушения Америки и всех тех старых добрых традиций, которые любила Улица. Листовки и прокламации падали, кружась, в грязные сточные канавы – листовки и прокламации, на множестве языков и множеством алфавитов призывающие к преступлениям и бунту. Эти тексты призывали людей отринуть законы и добродетели, возвеличенные нашими отцами, растоптать душу старой Америки – душу, сохраняющую в себе полуторатысячелетнюю англосаксонскую свободу, справедливость и терпимость. Люди говорили, что темнокожие, поселившиеся на Улице и проводящие собрания в ее гниющих зданиях – мозговой центр ужасной революции, протянувшей свои гадкие щупальца в трущобы тысяч городов, что по их приказу миллионы безмозглых, одурманных созданий бросятся сжигать, убивать и разрушать, пока от земли наших отцов ничего не останется. Об этом не раз говорилось и повторялось, и многие со страхом ждали четвертого дня июля, на который часто намекали странные тексты; тем не менее не удавалось найти ничего, что можно было бы вменить в вину. Никто не мог сказать, кого надо арестовать, чтобы пресечь на корню этот проклятый заговор. Много раз появлялись на Улице отряды одетой в синее полиции и обыскивали обветшалые здания, но в конце концов они перестали приезжать сюда, ибо сами тоже слишком устали от законности и порядка и предоставили город его судьбе. И тогда здесь появились люди в оливково-сером, вооруженные мушкетами, и казалось, что это грустный сон Улицы, призрачное видение из прошлого, когда вооруженные мушкетами люди в конических шляпах прогуливались по Улице от лесного ручья к кучке домов возле побережья. Но уже ничего нельзя было сделать, чтобы остановить надвигающийся катаклизм, ибо смуглые, зловещие люди были умудрены в коварстве.

Так Улица пребывала в тревожном оцепенении, пока одним вечером не собрались повсюду – и в «Пекарне Петровича», и в «Школе современной экономики Рифкина», и в «Клубе для встреч», и в кафе «Свобода», и в других подобных местах – огромные толпы людей, в глазах которых горело предвкушение триумфа и ожидание. По тайным каналам передавались странные сообщения и великое множество странных сообщений передавалось просто на словах, но большинство из них удалось разгадать лишь после того, как земли Запада оказались спасены от заговора. Люди в оливково-сером не могли сказать ни что происходит, ни чего следует делать, ибо смуглые зловещие люди были искусными в конспирации.

Но тем не менее люди в оливково-сером будут долго помнить ту ночь и рассказывать об Улице своим внукам, ибо многим из них пришлось поутру исполнять миссию совсем не ту, какую они ожидали. Всем было известно, что кварталы, где разместилось гнездо анархии, состоят из старых домов, испытавших на себе разрушительное действие лет, бурь и червей, и все же случившееся той летней ночью изумляет невероятным единообразием. Это было действительно необычайное происшествие, хотя и вполне объяснимое. Ибо в ту ночь вдруг, где-то в первый час после полуночи, накопившееся разрушительное действие лет, бурь и червей привело к ужасной катастрофе: стены всех зданий на Улице обрушились и остались стоять

только две древние дымовые трубы и кусок кирпичной кладки. Среди руин не оказалось ни одного живого человека. Среди огромной толпы, пришедшей поглазеть на происшедшее, оказались поэт и путешественник, поведавшие затем довольно странные истории. Поэт рассказывал, что в течение всего оставшегося до рассвета времени, рассматривая невзрачные руины в ярком электрическом свете, он повсюду замечал, что над ними смутно проглядывает иная картина: струящийся лунный свет, замечательные дома, вязы, дубы и благородные клены. А путешественник уверял, что вместо обыкновенного для того места зловония он ощущал тонкий аромат цветущих роз. Но разве поэты не склонны к мечтаниям, а путешественники – к сочинению мнимых подробностей?

Некоторые уверяют, что у предметов, которыми мы пользуемся, и мест, в которых мы бываем, есть души, впрочем, встречаются и такие, кто заявляет, что ни у мест, ни у предметов души не бывает; я не отваживаюсь сам судить об этом, но просто рассказал вам про Улицу.

Артур Джермин

I

Жизнь – страшная штука, а по отдельным дьявольским намекам, доходящим до нас из пучины неведомого, мы можем догадываться, что на самом деле все обстоит в тысячи раз хуже. Наука со своими шокирующими открытиями не только не принесла человечеству счастья, но, возможно, станет даже его убийцей. Однако есть ли такое понятие – человечество? Ведь желание во что бы то ни стало утаить сокрытое зло никак не могло родиться в разуме смертного. Если бы мы знали, кем являемся на самом деле, то поступили бы как сэр Артур Джермин, однажды вечером обливший себя горячей смесью и поднесший к одежде спичку. Никто так и не собрал в урну его прах и не поставил памятник на могилу: найденные после него документы и некий заключенный в ящик предмет настолько всех потрясли, что эту смерть постарались поскорее забыть. Те же, кто знал его близко, никогда о нем не говорили.

Артур Джермин ушел на болото и сжег себя, после того как извлек и рассмотрел привезенный из Африки предмет. Именно из-за этого предмета, а вовсе не из-за своей необычной внешности он покончил с собой. Многим не понравилось бы жить с таким лицом, но Артур Джермин спокойно уживался с ним – он был поэтом и ученым. Страсть к науке была у него в крови, ведь его прадедушка, сэр Роберт Джермин, был известным антропологом, а прапрадедушка, сэр Уэйд Джермин, одним из первых исследовал бассейн реки Конго и со знанием дела описал его племена, животный мир и возможную праисторию. Научный энтузиазм сэра Уэйда граничил поистине с сумасбродством, и когда были опубликованы материалы его исследований некоторых районов Африки, то эксцентричные предположения автора о существовании в доисторические времена в Конго белой цивилизации вызвали много насмешек. В 1765 году этого бесстрашного путешественника поместили в психиатрическую лечебницу города Хантингтона.

Безумие жило во всех Джерминах – к счастью, этот род был малочислен. В его генеалогическом древе отсутствовали побочные ветви – Артур был последним представителем рода. Трудно сказать, что сделал бы он, увидев предмет, будь у него родственники. Джермины никогда не отличались приятной наружностью – чего-то в их облике для этого недоставало, – но Артур превзошел в безобразии всех. Впрочем, по старинным семейным портретам, висевшим в родовом поместье Джерминов, можно было заключить, что до сэра Уэйда в семье встречались и вполне благообразные люди. Безумие тоже вошло в семью с сэром Уэйдом, чьи бредовые рассказы об Африке приводили его друзей равно и в восторг, и в ужас. Взять хотя бы необычную коллекцию, привезенную им из Африки, – разве не позволяла она усомниться в его нормальности? А тот факт, что никому ни разу не довелось увидеть его жену? По словам сэра Уэйда, она была дочерью португальского торговца, встреченного им в Африке, и не любила европейских обычаев. Он привез ее вместе с родившимся в Африке сыном из своего второго, самого продолжительного путешествия. Из третьего же, и последнего, жена не вернулась. Никто так никогда и не видел ее вблизи, даже служанки, но, по слухам, нрав у нее был свирепый. Во время своего непродолжительного пребывания в мужнином семейном замке она жила в отдаленном крыле, где ее навещал один только супруг. Стремление к семейному уединению было развито у сэра Уэйда до такой степени, что, вернувшись из Африки, он никому, кроме негритянки из Гвинеи, довольно неприятного вида, не позволял ухаживать за маленьким сыном. После смерти леди Джермин он целиком посвятил себя заботам о мальчике.

Но сумасшедшим сэр Уэйд прослыл все-таки из-за своих завиральных идей. В таком рациональном веке, как восемнадцатый, образованному человеку не следовало бы рассказывать о диких зрелищах и фантастических сценах, разыгрывавшихся под конголезской луной, о высоких, полуразрушенных и заросших диким виноградом стенах и башнях заброшенного города, о сырых каменных ступенях, ведущих во мрак гробниц, наполненных сокровищами, о запутанных подземных ходах. Особенно шокировал всех его бредовый рассказ о существах, населяющих город. По его словам, они напоминали и обитателей джунглей, и потомков древней языческой цивилизации. Их причудливый облик озадачил бы самого Плиния. Эти существа возникли, возможно, после того, как гигантские обезьяны захватили приходящий в упадок город – вместе с его стенами и башнями, склепами и таинственным резным орнаментом.

После своего окончательного возвращения сэр Уэйд стал разглагольствовать обо всех этих вещах с совершенно неподобающим пылом – обычно после третьего стакана вина в трактире «Голова рыцаря». Он похвалялся, что отыскал в джунглях нечто такое, чего никто никогда не видел, и рассказывал, как жил там среди никому неизвестных развалин. Об аборигенах же он говорил теперь такие несуразности, что его быстренько упрятали в сумасшедший дом. Оказавшись за решеткой больничной палаты, этот джентльмен, казалось, не сокрушался о своей судьбе – так сильно он к той поре переменялся. По мере того как выросл сын, сэр Уэйд все меньше любил свой замок и наконец прямо-таки его возненавидел. Родным домом ему стала «Голова рыцаря». Попад же в лечебницу, он как будто даже испытывал благодарность за заботу о нем. Спустя три года он умер.

Филип, сын сэра Уэйда, отличался большими странностями. Внешне он чрезвычайно напоминал отца, однако облик его и поведение были настолько грубы, что многих приводили в трепет. Его старались избегать. Хотя он и не унаследовал отцовского безумия, чего многие боялись, зато был определенно глуп и, кроме того, время от времени вдруг впадал в необъяснимую ярость. Небольшого роста, он был очень силен и необычайно ловок. Через двенадцать лет после получения титула Филип женился на дочери своего егеря, по происхождению цыгана, а перед самым рождением сына ушел на флот простым моряком, чем только подтвердил свою плохую репутацию. Рассказывали, что после окончания Войны за независимость он служил на торговом корабле, везшем груз в Африку, но исчез незадолго до того, как судно отчалило от берегов Конго.

В сыне сэра Филипа Джермина наследственные черты обернулись странной, фатальной стороной. Высокого роста, довольно привлекательный, несмотря на некоторую странность пропорций, с загадочной восточной грацией во всем своем облике, Роберт Джермин уже в самом начале сознательной жизни проявил себя как ученый и исследователь. Он первый изучил с научным пристрастием крупную коллекцию редкостей, привезенных его сумасшедшим дедом из Африки, а также прославил родовое имя в области этнологии, подобно тому как его предок сделал это в географии. В 1815 году сэр Роберт женился на дочери седьмого виконта Брайтхолма и имел в этом браке трех детей, из которых старший и младший никогда не показывались на людях по причине физических и душевных изъянов. Удрученный этими печальными семейными обстоятельствами, ученый нашел утешение в работе, совершив две продолжительные экспедиции в центральную часть Африки. В 1849 году его второй сын, Невил, исключительно неприятный субъект, соединивший в себе угрюмый нрав Филипа Джермина и надменность Брайтхолмов, убежал из дому с какой-то танцовщицей. Он объявился через год и был прощен. В родовое гнездо Невил вернулся вдовцом, с малюткой Альфредом, которому предстояло стать отцом Артура Джермина.

Друзья говорили, что разум сэра Роберта Джермина пошатнулся из-за семейных невзгод, но, возможно, поводом к этому послужил африканский фольклор. Пожилой ученый собирал легенды одного из племен онга, жившего в том районе, где путешествовал сначала дед, а потом и он сам в поисках затерянного города с жителями странного этнического типа. Некото-

рая логика, присутствовавшая в загадочных записях его предка, позволяла предположить, что воображение безумца подхлестывалось местными поверьями. 19 октября 1852 года путешественник Сэмюел Ситон посетил замок Джерминов, захватив с собой записи легенд, собранных им среди племен онга; он считал, что знаменитому этнологу будет интересна та их часть, где рассказывается о сумрачном городе белых обезьян во главе с белым богом. На словах он, возможно, добавил еще что-то, оставшееся неизвестным, потому что беседа завершилась кровавой трагедией. Задушив путешественника, сэр Роберт Джермин вышел из библиотеки и, прежде чем ему сумели помешать, убил всех своих детей: тех двух, которых никто не видел, и того, который убегал из дома. Перед смертью Невил Джермин успел, однако, спрятать своего двухлетнего сына, которому иначе неминуемо грозил бы тот же конец. Что касается самого сэра Роберта, то он, отказавшись дать какое-либо объяснение чудовищному своему деянию, неоднократно пытался покончить с собой и наконец скончался от апоплексического удара на второй год пребывания в тюрьме.

Сэр Альфред Джермин унаследовал титул баронета, когда ему не было и четырех лет, однако особым аристократизмом не отличался. В двадцать лет он стал работать в кабаре, а в тридцать шесть, покинув жену и ребенка, ушел с бродячим американским цирком. Конец его был ужасен. Среди цирковых животных особой популярностью у публики пользовалась огромная горилла с необычайно светлой кожей – она была послушна и хорошо поддавалась дрессировке. Эта обезьяна совершенно покорила Альфреда Джермина, и они часто и подолгу рассматривали друг друга через решетку клетки. Со временем Джермин добился разрешения работать с обезьяной, удивив всех своими неожиданными способностями к дрессуре. Однажды утром, когда цирк находился в Чикаго, горилла и Альфред репетировали сложный номер с боксом. Животное случайно нанесло дрессировщику-любителю удар сильнее обычного, чем задело его самолюбие. О том, что за этим последовало, артисты группы «Величайшее шоу мира» не любят вспоминать. Сэр Альфред Джермин издал неожиданно для всех резкий, нечеловеческий крик, схватил своего незадачливого противника и, затащив в угол клетки, вонзился зубами в волосатую глотку. Горилла потеряла над собой контроль, и, прежде чем вмешался дрессировщик-профессионал, баронет был разорван в клочья.

II

Артур Джермин был сыном Альфреда Джермина и певички из кабаре неизвестного происхождения. Когда Альфред бросил ее, она привезла ребенка в родовой замок его отца, где уже не осталось никого, кто имел бы право ее выставить. Она знала кое-что понаслышке о дворянской чести и потому постаралась, чтобы ее сын получил самое лучшее образование, какое только позволяли весьма стесненные средства. Денег в семье не хватало, да и замок нуждался в ремонте, но молодой Артур крепко привязался к этому древнему дому со всем его укладом. Мечтатель и поэт, он не был похож на остальных Джерминов. Соседи, помнившие рассказы о португальской жене сэра Уэйда, утверждали, что в потомке заговорила латинская кровь; другие же, посмеиваясь над его склонностью ко всему прекрасному, приписывали ее влиянию матери-певички, которую общество так и не признало. Поэтическая натура Артура Джермина особенно бросалась в глаза по контрасту с его исключительно безобразной внешностью. Большинство Джерминов, как мы уже упоминали, отличалось некрасивостью, но Артур превзошел всех. Трудно сказать, чем именно отталкивала его внешность, но и выражение лица, и профиль, и необычайно длинные руки – все мгновенно рождало антипатию к нему.

Но ум и характер Артура Джермина с лихвой искупали недостатки его наружности. С его талантами и образованием он добился признания и ученых степеней в Оксфорде, и казалось, был рожден для того, чтобы восстановить высокую научную репутацию семьи. Хотя по темпераменту Артур был скорее поэт, нежели ученый, тем не менее он собирался продолжить труды

предков в области африканской этнологии и истории, используя богатейшую, хотя и загадочную, коллекцию сэра Уэйда. Наделенный живым воображением, он частенько задумывался о доисторической цивилизации, в существование которой так истово верил сумасшедший путешественник, и тогда в его грезах вставал затерянный в джунглях город, упоминавшийся в фантастических записках его предка. При каждом, даже косвенном упоминании о безымянной, никому ранее неведомой расе, живущей в джунглях, он испытывал странное чувство, в котором подсознательный ужас смешивался с неодолимым любопытством. Он много размышлял над тем, что могло лежать в основе этой фантазии, и в поисках ответа обращался к легендам, собранным его прадедом и Сэмюэлом Ситоном среди племен онга.

В 1911 году, после смерти матери, сэр Артур Джермин решил довести свои изыскания до конца. Продав часть земель и выручив необходимую для снаряжения экспедиции сумму, он отплыл в Конго. С помощью бельгийских властей он нанял проводников и отправился в джунгли, где провел год среди племен онга и калири, собрав там сведения, важность которых превзошла все его ожидания. В племени калири ему повстречался пожилой вождь по имени Мвану, обладавший не только цепкой памятью, но и значительным интеллектом – он и сам интересовался старинными легендами. Старик знал все те фантастические истории, которые читал Джермин, и добавил к ним еще одну – о каменном городе и белых обезьянах, – которую слышал от своих родичей.

По словам Мвану, древний город и его жители-метисы погибли много лет назад в войне с жестоким племенем нбангусов. Разрушив жилища и уничтожив все живое, племя унесло с собой мумию богини – она и была, собственно, предметом их вожделений. Богиня, которой поклонялись таинственные жители-метисы, напоминала обезьяну и, по преданию, когда-то царствовала в городе. Кем в действительности являлись эти обезьяноподобные белые существа, Мвану не знал, но предполагал, что они-то и построили разрушенный впоследствии город. Рассказ местного жителя не связал воедино для Джермина отдельные легенды, но история мумифицированной принцессы при дальнейших расспросах становилась все интереснее.

По преданию, обезьянья принцесса стала супругой пришедшего с запада великого белого бога. Они долгое время совместно управляли городом, но после рождения сына уехали, взяв младенца с собой. Позднее бог и принцесса вернулись и какое-то время снова царствовали. После смерти принцессы божественный супруг поместил ее мумию в просторный каменный храм, где она стала предметом ритуального поклонения. Сам же покинул город.

Легенда существовала в трех вариантах. Согласно первой, ничего особенного в дальнейшем не произошло; правда, считалось, что мумия приносит удачу и могущество владеющему ею племени. Именно поэтому нбангусы и похитили ее. В другом варианте бог вернулся, чтобы умереть у ног своей мумифицированной супруги. В третьем говорилось о приезде взрослого сына (человека? обезьяны? бога?), ничего не знавшего о тайне своего рождения. Негры с их пылким воображением, конечно же, многое присочинили, и теперь трудно было докопаться до подлинных фактов, лежащих в основе сей экстравагантной истории.

После этих рассказов Артур Джермин уже не питал ни малейших сомнений в том, что описанный старым Уэйдом город в джунглях существовал, а когда в 1912 году случайно набрел на его руины, испытал некоторое разочарование. Хотя каменные развалины ясно говорили о том, что это не обычная негритянская деревушка, однако величина города была сильно преувеличена. Резных орнаментов, к сожалению, не обнаружили, а малочисленность экспедиции не позволила начать работы по расчистке входа в подземный туннель, который, возможно, привел бы к системе подземных ходов и склепов, о которых упоминал и сэр Уэйд. Пытались расспрашивать о белых обезьянах и о мумии местное население, но без особого успеха. Наконец один европеец вызвался перепроверить сведения из рассказа старого Мвану. Это был бельгийский подданный господин Веререн, торговый агент, работавший в Конго. Он рассчитывал не только отыскать мумию, о которой кое-что слышал и раньше, но и заполучить ее. Члены когда-

то могущественного племени нбангусов были теперь преданными вассалами короля Альберта и при небольшом нажиме, без сомнения, согласились бы расстаться с украденным ими божеством. Поэтому Джермин отплыл в Англию, исполненный радужных надежд воочию увидеть в ближайшие месяцы бесценную реликвию, которая подтвердила бы самые фантастические рассказы его прапрапрадедушки, по крайней мере те из них, что дошли до него. Самые бредовые рассказы сэра Уэйда наверняка слышали завсегдатаи «Головы рыцаря», но уже невозможно было разыскать и расспросить их потомков.

Артур Джермин терпеливо ждал обещанного господином Веререном ящика, а пока с еще большим тщанием изучал записи сумасшедшего предка. Он чувствовал все более тесную связь с ним и старался теперь отыскать в бумагах сведения не только об африканских экспедициях, но и о его жизни в Англии. О таинственной затворнице-жене сохранилось много устных преданий, но ни одного вещественного свидетельства ее пребывания в Джермин-хаусе. Размышляя о том, что же послужило причиной столь странного заточения, Джермин решил, что это как-то связано с безумием сэра Уэйда. Из рассказов он помнил, что его прапрапрабабушка была дочерью португальского купца из Африки. Наверняка унаследованный ею здравый смысл, а также некоторое знание Черного континента побудили ее скептически отнестись к «басням» мужа, чего он ей, конечно, не простил. Она умерла в Африке, куда он, возможно, насильственно ее привез, чтобы доказать свою правоту. Но все это были лишь предположения. Джермин прекрасно понимал, что спустя сто пятьдесят лет после смерти этих странных супругов трудно представить себе истинную картину.

В июне 1913 года пришло письмо от Веререна, в котором он сообщал, что нашел мумию богини. По его словам, это было нечто из ряда вон выходящее и совершенно не поддающееся определению. Только специалист мог бы понять, к какому виду – приматов или человека – относится это существо, однако плачевное состояние, в котором находилась мумия, исключало эту возможность. Время и климат Конго не пощадили богиню, к тому же дело усугублялось тем, что ее мумифицировали не по правилам. Шею мумии украшала золотая цепь с медальоном, на котором были выгравированы геральдические знаки. Эту ценность туземцы наверняка похитили у какого-нибудь путешественника и использовали как талисман. Месье Веререн позволил себе вышутить наружность мумии, прибавив, что, по его мнению, она удивит его корреспондента, но в остальном был краток – его слишком интересовала научная сторона вопроса. Он писал, что сам экспонат прибудет месяц спустя после письма.

Ящик с мумией доставили в Джермин-хаус в полдень 3 августа 1913 года и по просьбе хозяина сразу же внесли в большую комнату, где хранились собранные сэром Робертом и Артуром африканские раритеты. О том, что случилось дальше, известно из рассказов слуг, а также из осмотра на месте происшествия различных бумаг и предметов. Среди изложенных версий наиболее убедительным представляется рассказ старого дворецкого Сомса. По его словам, перед тем как вскрыть ящик, сэр Артур Джермин попросил всех покинуть комнату. Вскоре по донесшемуся оттуда стуку молотка стало ясно, что он приступил к делу. Затем воцарилась тишина. Сколько она продолжалась, Сомс не мог сказать с точностью, но, во всяком случае, не больше четверти часа. Затем раздался отчаянный вопль хозяина. Дверь тут же распахнулась, и Джермин, пулей вылетев из комнаты, понесся прочь, словно его преследовал страшный враг. Лицо хозяина, неприятное и при спокойном выражении, теперь, искаженное ужасом, было поистине чудовищным. Почти добежав до выхода, он вдруг остановился, как бы пораженный пришедшей в голову мыслью, повернулся и побежал к лестнице, ведущей в подвал. Ошеломленные слуги застыли на месте, не решаясь спуститься за хозяином. Тот все не возвращался, а потом из подвала донесся сильный запах нефти. Когда стемнело, во дворе послышался легкий шум, и помощник конюха увидел, как Артур Джермин, с головы до ног залитый нефтью, выскользнул из двери подвала и исчез на болоте, подступающем к дому. Его конец видели все оцепеневшие от ужаса обитатели замка. Сначала в темноте вспыхнула крошечная

искорка, затем занялось пламя, и вот уже огненный столб взмыл к небесам. Род Джерминов прекратил существование.

Причина, по которой обугленные останки Артура Джермина не собрали и не похоронили, вызвана содержимым присланного из Африки ящика, которым заинтересовались после его смерти. Мумия богини выглядела отвратительно, вдобавок была источена временем, однако не вызвало никаких сомнений: в ящике лежала мумифицированная белая обезьяна неизвестного вида. Волосистой покров был у нее выражен гораздо меньше, чем у большинства известных науке приматов, и вообще она удивительным образом – что поражало неприятней всего! – напоминала человека. Не хотелось бы вдаваться во все эти подробности, но о двух вещах сказать необходимо – слишком во многом соответствуют они африканским запискам сэра Уэйда, а также конголезским легендам о белом боге и обезьяньей принцессе. Во-первых, изображенный на медальоне герб принадлежал роду Джерминов, а во-вторых, шуточный намек месье Веререна на сходство принцессы с кем-то из его знакомых расшифровывался мгновенно: сморщенное личико богини – все тотчас отметили это с ужасом и отвращением – было как две капли воды похоже на лицо утонченного Артура Джермина, прапраправнука сэра Уэйда Джермина и его неизвестной супруги. Члены Королевского общества антропологов сожгли проклятую мумию, а медальон бросили в глубокий колодец, дабы ничто не напоминало о том, что Артур Джермин жил на этом свете.

Картинка в доме

Искатели острых ощущений посещают странные и весьма далекие места. Для них были созданы катакомбы Птолемеев и украшенные резьбой мавзолеи в глубине полудиких стран. Они взбираются при свете луны на развалины рейнских замков и отважно спускаются по черным, поросшим лишайником ступеням в каменные останки давно забытых азиатских городов. Заколдованный лес и одинокая гора посреди пустоши – их святыни, и они надолго задерживаются возле зловещих монолитов на необитаемых островах. Но подлинные ценители грозных опасностей, для которых очередное потрясение при созерцании неопишимо отвратительного зрелища – вождельный финал, увенчивающий долгие поиски, пожалуй, превыше всей этой экзотики оценят древний и одинокий фермерский дом где-нибудь в провинциальной глуши Новой Англии, ибо в таком месте темные элементы потаенной силы, гнетущего одиночества, гротескной вычурности и дремучего невежества сливаются для создания изумительной мерзости.

Самыми зловещими бывают именно маленькие некрашенные деревянные домики поодаль от проезжих дорог, обычно притулившиеся на сыром травянистом склоне или прислонившиеся к гигантскому обнажившемуся каменному пласту. Двести, а то и более лет назад они уже были покосившиеся или приземистые, и лоза оплетала их стены, а деревья простирали над их крышами ветви. Сейчас они почти незаметны среди безудержного буйства зелени и замаскированы тенью, но их окна, из множества мелких застекленных секций, по-прежнему поглядывают тревожно, словно подмигивая сквозь мертвящее оцепенение, защищающее разум от помешательства, притупляя воспоминания о неопишемых событиях.

Многие поколения в таких домах жили странные люди, подобных которым свет не видывал. Ведомые мрачной и фанатичной верой, отдалившей их от остальных людей, их предки искали самые глухие места, желая обрести там свободу. В подобных местах потомки этих свободолюбивых искателей и в самом деле росли в полной свободе, не обремененные ограничениями и тяготами своих сверстников, но попадали в рабские оковы мрачных фантазий их собственного разума. Вдали от света цивилизации сила этих пуритан направлялась порой по весьма странному каналу, и в своей изоляции, в своем болезненном самоограничении и борьбе за жизнь с безжалостной природой они подчас перенимали самое темное и загадочное из доисторических глубин обитателей холодных северных краев. По необходимости практичные и суровые по складу характера, эти люди не были прекрасны в своих грехах. Ошибаясь, как и все смертные, они понуждались их строгими религиозными догмами найти тайное убежище от всего этого и потому со временем все меньше осознавали, что именно старались скрыть. Только молчаливые, сонные, пугливо глазающие окнами домики в захолустье могли бы поведать, что именно скрывается с давних времен, но обычно они неразговорчивые, не желающие стряхивать с себя дремоту, помогающую им забыть былое. Иногда даже кажется, что милосерднее будет вообще снести эти домики, ибо они часто погружены в грезы.

Именно в таком вот сокрушенном времени строения я оказался в ноябре 1896 года, когда разразившийся во второй половине дня холодный проливной дождь вынудил меня искать хоть какое-то убежище. Я уже несколько дней путешествовал по сельской местности Мискатонской долины в поисках кое-какой генеалогической информации, а поскольку интересовавшие меня места в основном располагались вдали от дорог и были труднодостижимы, то, несмотря на позднюю осень, путешествовал я на велосипеде. Желая добраться до Аркхема кратчайшим путем, я оказался на старой и, по всей видимости, заброшенной дороге, и когда вдали от населенных пунктов меня застигла гроза, в поисках убежища я наконец наткнулся на древнее и неказистое деревянное строение неподалеку от основания каменистого холма, щурящееся мутными окнами из-за двух огромных, уже облетевших вязов. Даже издали, как только

я заметил его от дороги, это строение произвело на меня неприятное впечатление. Порядочные и благопристойные дома не смотрят на путешественника так лукаво и в то же время заволакивающе, а кроме того, благодаря генеалогическим изысканиям я был знаком с местными преданиями, настраивающими против посещения подобных мест. Однако гроза оказалась сильнее предрассудков, и вскоре я уверенно крутил педали вверх по пологому склону в сторону запертой двери, наводящей на мрачные мысли и в то же время манящей.

На первый взгляд мне показалось, что дом заброшен, однако по мере приближения к нему я был все меньше в этом уверен, ибо хотя ведущая к нему тропинка заросла травой, вид ее наводил на мысль, что ею изредка пользуются. Поэтому я не стал решительно тянуть на себя ручку двери, а осторожно постучался, ощущая внутреннее волнение, которое едва ли мог объяснить. Ожидая возможного ответа на грубом, поросшем мхом камне, служившем своего рода порогом, я посмотрел на ближайшие окна, затем поднял взгляд на оконце над дверью и обратил внимание, что стекла в них грязные и старые, но не разбиты. Значит, дом все еще обитаем, хотя и удален от дороги и имеет заброшенный вид. Однако на мой стук так никто и не ответил, я постучал снова, а потом потрогал заржавленную щеколду и обнаружил, что дверь не заперта. За ней оказалась маленькая прихожая, со стен которой осыпалась штукатурка, а изнутри дома доносился странный неприятный запах. Я вошел, неся в руке велосипед, и закрыл за собой дверь. Прямо передо мной узкая лестница уходила вверх, к маленькой двери, ведущей, наверное, в мансарду, тогда как справа и слева от меня располагались закрытые двери, ведущие в комнаты.

Поставив велосипед к стене, я открыл левую дверь и оказался в небольшом помещении с низким потолком, куда свет едва проникал сквозь запыленные окна, обставленном скудно и самым примитивным образом. Похоже, это было чем-то типа гостиной, поскольку здесь стояли стол и несколько стульев, а кроме того был огромный камин, на полке над которым тикали старинные часы. Книг и газет было мало, а названия их при таком освещении я разобрать не смог. Но прежде всего я обратил внимание на царившую в доме атмосферу старых времен, проступавшую буквально в каждой детали. В большинстве домов в этих краях я замечал разнообразные реликвии прошлого, но здесь любовь к старине казалась доведенной до своего предела, ибо я не обнаружил ни единого предмета, относящегося к периоду после Войны за независимость. Не будь обстановка здесь такой скромной и невзрачной, это был бы рай для собирателя старины.

Осматривая это странное жилье, я ощущал все более сильную антипатию, зародившуюся во мне уже при первом взгляде на унылое строение. Я никак не мог определить, что это, неприязнь или, может, потаенный страх, но отчетливо ощущал во всей атмосфере мрачность и грубую порочность старины, некие тайны, о которых давно следовало бы забыть. Садиться мне почему-то не хотелось, и потому я начал бродить по комнате, осматривая те предметы, на которых останавливался мой взгляд. Первым таким предметом оказалась книга средних размеров, лежавшая на столе и имевшая настолько древний вид, что казалось, будто ее взяли из какого-нибудь музея. Издание в кожаном переплете с металлическими уголками и прекрасной сохранности казалось неуместным в таком примитивном помещении. Когда я открыл ее и увидел титульный лист, мое изумление возросло многократно, ибо это оказалось не что иное, как редчайшее описание Пигафетты района Конго, написанное на латыни на основе воспоминаний моряка Лопеса, изданное во Франкфурте в 1598 году. Мне часто доводилось слышать об этой книге, снабженной крайне любопытными иллюстрациями, выполненными братьями Де Брай, и потому я на какое-то время совершенно забыл про беспокойство и принялся листать ее. Гравюры действительно оказались весьма интересными, основанными на фантазии и небрежных описаниях; туземцы на них были с белой кожей и характерными для европейцев лицами; вероятно, я не скоро бы закрыл эту книгу, если бы не одно странное обстоятельство, задевшее мои усталые нервы и оживившее ощущение непонятного беспокойства. Эта книга непонятно

почему норовила раскрыться на одном и том же месте, а именно на иллюстрации XII, где в омерзительных подробностях была изображена мясная лавка каннибала королевства Анзику. Я даже устыдился своей неприязни к какой-то заурадной картинке, однако иллюстрация эта все же вызвала у меня беспокойство, особенно потому, что к ней прилагалось что-то типа справки по гастрономическим пристрастиям каннибалов.

Я обратил взгляд к книжной полке и осмотрел ее скудное содержимое: Библия XVIII века; «Путешествия пилигрима» примерно того же периода, с вычурными гравюрами и изданные составителем альманахов Исайей Томасом; заметно подпорченный громадный том «*Magnalia Christi Americana*» Коттона Матера и еще несколько книг тех же времен, а затем мое внимание привлек внезапный звук шагов в комнате наверху. Поначалу изумившись, поскольку никто не ответил на мой стук в дверь, я вскоре решил, что хозяин дома, скорее всего, только что очнулся после долгого сна, и уже с меньшим удивлением слушал поскрипывание ступеней. Поступь спускавшегося по лестнице человека была тяжелой и в то же время какой-то настороженной, что мне особенно не понравилось. Войдя в комнату, я инстинктивно запер за собой дверь. После недолгой тишины, пока хозяин, очевидно, осматривал мой оставленный в прихожей велосипед, послышалось звяканье щекотки, а затем дверь в гостиную стала медленно открываться.

В дверном проеме стоял человек столь необычной внешности, что я не вскрикнул лишь потому, что с детства был приучен к сдержанности. Старый, с белой бородой и в поношенной одежде, хозяин дома внушал удивление и уважение своим видом и телосложением. Ростом он был примерно метр восемьдесят и, несмотря на возраст и явную нищету, казался крепким и энергичным. Лицо, почти полностью скрытое длинной бородой, росшей чуть ли не от самых глаз, казалось неестественно румяным и не столь морщинистым, как следовало ожидать; над высоким лбом торчала копна седых волос, лишь чуть поредевшая с годами. Взгляд голубых глаз, слегка налитых кровью, казался пронзительным и даже пылающим. Если бы не чудовищная неряшливость, старик производил бы впечатление важной персоны. Эта неряшливость, даже при таких лице и фигуре, делала его внешность отталкивающей. Невозможно было определить, что представляла собой его одежда, ибо мне она показалась массой каких-то лохмотьев, колышущейся над высокими, тяжелыми ботинками; его же личная нечистоплотность вообще не поддается описанию.

Появление этого человека и тот инстинктивный страх, который он внушал, заставляли меня ожидать какой-то враждебности, потому я почти вздрогнул от изумления и проникся ощущением несообразности, когда он указал рукой в сторону стула и обратился ко мне тонким, слабым голосом, полным льстивого почтения и угодливости. Речь его была весьма любопытной – крайне ярко выраженная форма североамериканского диалекта, который, как мне казалось, давно вышел из употребления, – и я внимательно вслушивался в нее, пока он усаживался напротив меня, чтобы побеседовать.

– Попали под дождь, да? – произнес он в качестве приветствия. – Рад, что вы оказались неподалеку и догадались заглянуть. Похоже, я спал, иначе бы услышал, как вы вошли. Годы уже не те, хочется вздремнуть даже днем. Путешествуете? С тех пор, как отменили дилижансы на Аркхем, редко доводится видеть кого-то на этой дороге.

Я ответил, что направляюсь в Аркхем, и извинился за грубое вторжение в его жилище, после чего он продолжил:

– Рад видеть вас, молодой сэр... в здешних местах редко доводится видеть нового человека, и поболтать не с кем. Похоже, вы из Бостона, да? Я там никогда не был, но человека из города видно сразу... в восемьдесят четвертом приезжал к нам сюда один школьный учитель, но потом пропал внезапно, и с тех пор никто о нем не слышал...

При этих словах старик захихикал, но не ответил на мой уточняющий вопрос об учителе. Похоже, он пребывал в игривом расположении духа, но все же от него можно было ожидать

чуждачества. Некоторое время он продолжал нести какой-то вздор, пребывая в состоянии преувеличенного радушия, пока мне не пришло в голову поинтересоваться, каким образом у него оказалась столь редкая книга, как «Regnum Congo» Пигафетты. Я все еще пребывал под впечатлением от этой книги и испытывал некоторое колебание, прежде чем спросить о ней, однако любопытство победило страхи, что постепенно накапливались с того момента, когда я впервые увидел этот дом. К моему облегчению, этот вопрос не озадачил его, ибо старик свободно и легко продолжил болтовню:

– А, эта книга про Африку? В шестьдесят восьмом выторговал ее у капитана Эбенезера Холта – а потом он был убит на войне.

Упоминание Эбенезера Холта заставило меня резко взглянуть на старика. Я уже встречал это имя в своих генеалогических изысканиях, и все упоминания относились исключительно к периоду до Войны за независимость. Подумав, что хозяин дома может оказать помощь в моих изысканиях, я решил позже расспросить его подробнее. Между тем он продолжал:

– Эбенезер долгое время ходил на салеомском торговом судне и покупал в портах всякие забавные вещицы. Эту привез, думаю, из Лондона – любил он захаживать во всякие местные магазины... Как-то раз я был у него дома – это на холме, он там лошадьми торговал, – и увидел эту книгу. Мне в ней картинки понравились, и я ее выменял. Она чудная... дайте-ка надеть очки...

Старик покопался в лохмотьях и извлек грязные и подлинно антикварные очки – с маленькими восьмиугольными линзами в стальной оправе. Нацепив их на нос, он потянулся к лежавшей на столе книге и принялся аккуратнo, почти любовно листать ее.

– Эбенезер немного читал на этой... на латыни, а я вот не научился. Я просил нескольких школьных учителей почитать мне немного, и еще Пэссона Кларка... говорят, он потом утонул... а вы что-нибудь в этом понимаете?

Я ответил, что да, и перевел ему один из первых абзацев. Если я где и ошибся, старик все равно не мог этого заметить, и при этом он почти по-детски радовался моему переводу. Между тем находиться совсем рядом с ним становилось все более невыносимо, но я не видел способа избежать этого, не обижая старика. Меня забавляла детская увлеченность этого пожилого человека картинками в книге, которую он не мог прочесть, и я задавался вопросом, может ли он прочесть те немногочисленные английские книги, что украшают комнату. Эта демонстрация простодушия почти отменяла мои смутные опасения, и я с улыбкой продолжал слушать болтовню хозяина дома.

– А странно все-таки, что картинки могут наводить на всякие мысли. Взять хотя бы эту, в самом начале. Вы когда-нибудь видели такие деревья – с большими листьями, которые качаются вверх-вниз? Или вот эти люди: это не могут быть негры – те совсем не такие. Скорее индусы, даже если они в Африке. Из этих вот некоторые похожи на обезьян – или наполовину обезьяны, наполовину люди. А про таких чудищ я никогда не слышал. – В этом месте он ткнул в очередное порождение фантазии художника, изобразившего нечто вроде дракона с головой крокодила. – Но сейчас я покажу вам самую лучшую – вот тут, почти в середине...

Голос старика стал чуть глуше, а в глазах появился блеск; его подрагивающие пальцы сделались еще более неуклюжими, чем ранее, но со своей задачей справились. Книга раскрылась почти сама, как будто ее особенно часто открывали именно на этом месте – на той самой двенадцатой иллюстрации, где была изображена лавка мясника-каннибала из Анзику. Ощущение беспокойства вернулось ко мне, хотя я постарался этого не показывать. Особо нелепым казалось то, что художник изображал африканцев совсем как белых людей – части тел, свисавшие со стен лавки, выглядели омерзительными, тогда как мясник с топором на их фоне смотрелся крайне неуместно. Но хозяину дома, похоже, эта иллюстрация нравилась настолько же, насколько мне внушала отвращение.

– Ну, что думаете об этом? Небось, никогда ничего подобного не видели, а? Я как только это увидел, так сказал Эбу Холту: «На это как глянешь – сразу чувствуешь, как кровь по жилам бежит». Когда я читал в Библии про убийства – про истребление мадианитян, например, – то мог только подумать, но не представить картинку. А здесь сразу видно, как все это делается – грех, конечно, но разве все мы не родились в грехе и не живем в нем?... Этот парень, которого на куски порубили, – я как гляну на него, так кровь по жилам быстрее бежит. Я подолгу смотрю на это – видишь, как мясник ему ноги оттяпал? Вот его голова на лавке, рядом с ней одна рука, а другая – с другой стороны, висит на стене.

Пока старик бормотал все это в шокирующем экстазе, выражение его заросшего лица в очках неописуемо изменялось, а голос становился тише. Не берусь описать, какие я при этом испытывал чувства. Весь тот ужас, который я смутно ощущал, нахлынул вдруг с новой силой, и я осознал, что ненавижу это древнее и гнусное существо, сидящее так близко ко мне. Его безумие или, во всяком случае, почти патологическая извращенность стали для меня очевидными. Он перешел почти на шепот и говорил с хрипотцой, которая была ужаснее крика, а я, дрожа всем телом, продолжал слушать его.

– Вот я и говорю – странно, что эти картинки наводят на мысли. Знаете, молодой сэр, ведь на этой картинке почти про меня. После того как я забрал у Эба эту книгу, я помногу смотрел ее, особенно послушав воскресную проповедь Пэссона Кларка – он читал их в большом парике. И однажды я попробовал кое-что забавное – только не бойтесь, молодой сэр, потому как все, что я сделал, – это просто посмотрел на эту картинку перед тем как зарезать овцу, которую затем отвез на рынок... так вот, гораздо веселее убивать после того, как посмотришь на такое...

Голос старика стал совсем тихим, так что я едва различал произносимые им слова. Я слышал дождь, стук капель по маленьким тусклым оконным стеклам, и вдруг прозвучали раскаты грома, хотя гроза была крайней редкостью для этого времени года. Затем с ужасающей вспышкой и оглушительным грохотом рядом ударила молния, сотрясая ветхий домишко до самого основания, однако мой нашептывающий собеседник, казалось, ничего не заметил.

– Как посмотрел, прирезать овцу стало немного веселее, но все равно этого было как-то недостаточно. Странно чувствовать, как тебя охватывает жажда чего-то такого, особенного... Если вы, молодой человек, любите Господа нашего всемогущего, то никому не рассказывайте, но я поведаю вам правду... глядел я на эту картинку, и внутри у меня поднимался голод по такой пище, которую я не мог ни купить, ни получить еще как-то... да сидите же спокойно, что с вами?... Я же не сделал ничего такого, только подумал, а что если сделаю?... Говорят, что мясо питает нашу плоть и кровь, дает нам новую жизнь, вот я и подумал, что человек может жить значительно дольше, если будет есть сродное самому себе...

Но продолжения фразы не последовало. Старик прервался не из-за моего страха и не из-за усиливавшейся грозы. Произошло это по самой простой и совершенно неожиданной причине.

Между нами лежала та самая книга, раскрытая на омерзительной иллюстрации. Как только старик прошептал «самому себе», я услышал слабый звук, похожий на легкий шлепок, и на пожелтевшей странице появилось пятно. Я подумал о дожде и протекающей крыше, но дождь не бывает красным. Поблескивающее на изображении лавки мясника каннибалов королевства Анзику маленькое красное пятнышко придавало кошмарной сцене на старинной гравюре особую достоверность. Старик тоже увидел пятно и тут же замолчал, еще до того, как выражение ужаса на моем лице заставило бы его сделать это; он быстро поднял взгляд к потолку – полу той комнаты, которую он покинул менее часа назад. Я проследил за его взглядом и увидел над нами, на отслаивающейся штукатурке старого потолка, большое темно-красное пятно, которое, как мне показалось, расширялось буквально на глазах. Я не закричал и даже не двинулся с места, а лишь крепко закрыл глаза. Мгновение спустя раздался неимоверно громкий

удар грома; чудовищной силы удар молнии сокрушил этот проклятый дом со всеми его жуткими тайнами и принес мне забытие – то единственное, что могло спасти мою душу.

Дерево

Многие годы назад, когда вилла на склоне холма еще сверкала новым великолепием, в ней обитали два скульптора – Калос и Музидес. Красоту их работ превозносили от Лидии до Неаполя, и никто не посмел бы сказать, что мастерство одного из них превосходит мастерство другого. Изваянный Калосом Гермес стоял во мраморном святилище в Коринфе, а Паллада Музидеса венчала собой столп в Афинах неподалеку от Парфенона. Все люди почитали Калоса и Музидеса и дивились тому, что никакая тень артистического соперничества не омрачает теплоту их братской дружбы.

Однако, хотя Калос и Музидес пребывали в нерушимой гармонии, по природе своей они были людьми различными. В то время как Музидес бражничал ночами посреди городских увеселений Тегей, Калос оставался дома, ускользнув от внимания своих рабов в какой-нибудь из прохладных уголков масличной рощи. Там размышлял он над видениями, наполнявшими его разум, и обдумывал очертания той красоты, которая впоследствии сделалась бессмертной в дыхании мрамора. Впрочем, праздные люди говорили, что Калос общается с духами рощи и созданные им статуи всего лишь изображают явившихся ему там фавнов и дриад, ибо он не пользовался в своей работе услугами живых натурщиков.

Столь знаменитыми были Калос и Музидес, что никто не удивился, когда Тиран Сиракуз прислал к ним своих людей, чтобы обсудить многоценную статую Тюхэ¹, которую он намеревался поставить в своем городе. Огромной и хитроумно сделанной должна была быть она, ибо изваянию этому надлежало стать чудом для соседних народов и объектом интереса путешественников. Высокими помыслами надлежало обладать тому, чья работа могла бы заслужить одобрение, и Калос и Музидес получили приглашение побороться за эту честь. О братской любви их было известно повсюду, и хитроумный Тиран полагал, что оба не станут скрывать друг от друга своих работ, предлагая совет и помощь; и взаимная щедрость эта послужит созданию двух образцов небывалой доселе красоты, самый чарующий из которых затмит даже мечты поэтов.

Скульпторы с радостью приняли предложение Тирана, и в последовавшие дни рабы их слышали только непрерывающийся перестук молотков. Друг от друга Калос и Музидес не скрывали своих работ, однако другим не показывали. Никакие другие глаза, кроме их собственных, не лицезрели два божественных изваяния, под искусными руками высвобождавшихся из грубых камней, заточавших их в себе от начала мира.

По ночам, как и прежде, Музидес посещал пиршественные залы Тегей, в то время как Калос бродил в одиночестве по оливковой роще. И все же с течением времени люди заметили, что веселье оставляет прежде искрившегося им Музидеса. Странно, говорили они между собой, что такое уныние может охватить человека, только что получившего столь великий шанс заслужить высочайшую награду своему мастерству. Много месяцев миновало, однако на кислом лице Музидеса никак не обнаруживалось то напряженное ожидание, которого вроде бы требовала ситуация.

А потом однажды Музидес сообщил, что Калос болен, после чего никто уже не удивлялся его печали, ибо все знали, что дружеская привязанность скульптора свята и глубока. Многие теперь отпраивались повидать Калоса и в самом деле замечали бледность лица его; однако теперь Калоса окутывала блаженная ясность, делавшая взгляд его еще более волшебным, чем

¹ Тюхэ (Тихе, Тихэ, Тихея, «случайность», то, что выпало по жребию) – в греческой мифологии – богиня случая и удачи. В древнеримской мифологии ей соответствует Фортуна. Тюхэ не встречалась в классической мифологии, а появилась только в эпоху эллинизма как сознательное противопоставление древнему представлению о неизменной судьбе. Она символизирует изменчивость мира, его неустойчивость и случайность любого факта личной и общественной жизни.

взор Музидеса, явно отвлеченного тревогой и отодвинувшего прочь всех рабов, чтобы лично ухаживать за своим другом и кормить его из собственных рук. А за плотными занавесками в забвении пребывали две незаконченные каменные фигуры Тюхэ, к которым почти не прикасались в последнее время резцы больного и его верного слугителя.

Необъяснимым образом теряя и теряя силы вопреки стараниям озадаченных врачей и своего усердного друга, Калос часто выражал желание, чтобы его отнесли в любимую масличную рощу. Там он просил, чтобы его оставили одного, словно бы желая поговорить с тварями незримыми. Музидес всегда исполнял его просьбы, хотя глаза его наполнялись заметными всем слезами при мысли о том, что Калос более интересуется фавнами и дриадами, чем своим другом. Наконец смерть подошла совсем близко, и Калос принялся говорить о предметах, лежащих за гранью сей жизни. Музидес, рыдая, пообещал другу воздвигнуть ему гробницу, много более красивую, чем склеп Мавзола; однако Калос воспретил ему даже вспоминать о мраморном великолепии. Только одно желание преследовало теперь умирающего: чтобы веточки нескольких маслин из рощи поместили в месте его упокоения – возле головы. И вот однажды ночью, пребывая в одиночестве во мраке масличной рощи, Калос скончался. Прекрасной, выше всякого описания, была мраморная гробница, которую исполненный горя Музидес высек из камня для своего любимого друга. Никто другой, кроме самого Калоса, не смог бы создать подобные барельефы, изображавшие Элизий во всем великолепии. Не позабыл Музидес и поместить взятые из рощи веточки олив возле головы Калоса.

Когда острота горя оставила Музидеса и сменилась смирением перед судьбой, он принялся усердно работать над своим изваянием Тюхэ. Все почести теперь заранее принадлежали ему, поскольку сиракузский Тиран не желал иметь дело с каким-либо другим скульптором, кроме него или Калоса. Работа представила свободный выход его чувствам, и Музидес ни на день не оставлял ее и усердно трудился, забросив развлечения, которыми прежде так наслаждался.

Тем временем он проводил свои вечера возле надгробия друга, из-под которого, у головы спящего, пробилась юная маслина. Так быстро росло это деревце и столь странными оказались его очертания, что всякий побывавший у гроба дивился им, восклицая; а Музидес как будто бы одновременно восторгался и испытывал отвращение.

Через три года после смерти Калоса Музидес отправил к Тирану вестника, и на Тегейской агоре начали шептать, что великое изваяние завершено. К этому времени дерево у гробницы приобрело удивительные пропорции, превосходя все прочие деревья своего рода, а особенно тяжелая ветвь протянулась над помещением, в котором работал Музидес. Многие приходили, чтобы полюбоваться великолепным деревом и восхититься искусством скульптора, так что он редко оставался в одиночестве.

Однако множество гостей не смущало его; напротив, он как бы опасался оставаться один, теперь, после того как была завершена целиком поглотившая его работа. Нудный горный ветер, вздохавший в масличной роще и в ветвях выросшего на могиле дерева, странным образом производил едва ли не осмысленные звуки.

Под сумрачным вечерним небом явились в Тегею посланцы Тирана. Всем было известно, что они прибыли затем, чтобы увезти с собой великое изображение Тюхэ и покрыть Музидеса вечной славой, так что проксены² оказали им весьма теплый прием. Когда ночь близилась к своему исходу, великая буря разразилась над гребнем Менала, и люди из далеких Сиракуз были рады тому, что пребывают в городском уюте. Они беседовали о своем блистательном Тиране, о великолепии его столицы и восхищались славой той статуи, которую сработал для него Музидес. Тегейцы же говорили о великодушии Музидеса и о тяжком горе его по утраченному другу,

² Граждане, оказывавшие по личной инициативе или по поручению своего полиса гостеприимство и помощь послам или гражданам другого полиса и пользовавшиеся за это в чужом городе рядом привилегий.

и о том, что даже грядущая слава не могла утешить его в отсутствие Калоса, который мог бы и сам заслужить эти лавры. Говорили они и о дереве, выросшем из-под надгробья у головы Калоса. И ветер взвизгивал здесь еще более жутким голосом, и сиракузяне и аркадийцы вместе молились Эолу.

Под лучами утреннего солнца проксены повели вестников Тирана вверх по склону к обители скульптора, в которой разгулявшийся ночью ветер натворил странного. Крики рабов возносились над сценой разрушения, и посреди оливковой рощи более не возносилась блистательная колоннада того чертога, в котором грезил и творил Музидес. Одинокими и потрясенными скорбели смиренные залы и основания стен, ибо на роскошный и величественный перистиль обрушился нависавший над ним тяжелый сук странного нового дерева, с удивительной полнотой превративший величественную мраморную поэму в груды неприглядной щебенки.

Ошеломленные, потрясенные ужасом застыли перед развалинами сиракузяне и тегейцы, то и дело переводя взгляд на огромное и зловещее дерево, столь таинственно похожее на человека и корнями своими уходившее в землю возле украшенного скульптурами надгробия Калоса. И страх и смятение их еще более усилились, когда, обыскав обрушившееся строение в поисках благородного Музидеса и созданного им чудесного и прекрасного изображения Тюхэ, они не обрели и следа ни того, ни другого. Великий хаос царил посреди развалин, и представители обоих городов в разочаровании оставили их; ибо сиракузяне не обрели статуи, чтобы доставить ее домой, а у тегейцев не осталось более художника, которого можно было бы увенчать славой. Впрочем, спустя некоторое время сиракузяне приобрели в Афинах великолепное изваяние, тегейцы же утешились тем, что возвели на агоре мраморный храм в честь дарования, добродетели и братской любви Музидеса.

Только масличная роща растет как и прежде, как стоит и дерево, выросшее из гробницы Калоса, а старый пасечник рассказал мне, что иногда ветви его перешептываются под ночным ветром, и все повторяют друг другу: «Ойда! Ойда! Знаю! Все знаю!»

Музыка Эриха Цанна

Я самым тщательным образом изучил карты города, но так и не смог найти на них улицу д'Осейль. Карты эти были не только современные, ибо мне известно, что названия улиц нередко меняются. Напротив, я тщательно изучил историю этих мест и, более того, лично обследовал все те районы, где могла бы находиться улица, известная мне как д'Осейль, вне зависимости от табличек с названиями и вывесок. Но несмотря на все эти усилия, вынужден признать тот постыдный факт, что не смог отыскать дом, улицу и даже приблизительно определить район, где в последние месяцы нищей жизни, будучи студентом университета, изучающим метафизику, я слушал музыку Эриха Цанна.

В моей памяти есть провалы, но это вовсе не удивительно, ибо за время жизни на улице д'Осейль мое как физическое, так и умственное здоровье оказалось серьезно подорвано, и потому я не в состоянии вспомнить ни одного из немногочисленных тамошних знакомых. Но то, что мне не удастся отыскать само это место, кажется мне крайне странным и поистине обескураживающим, ибо располагалось оно не далее чем в получасе ходьбы от университета, и обладало рядом весьма специфических особенностей, которые трудно забыть любому, кто хотя бы однажды там побывал. Мне не удалось найти ни одного человека, побывавшего на улице д'Осейль.

Улица эта пересекала по массивному мосту из черного камня темную реку, текущую между огромными кирпичными складскими строениями с помутневшими окнами. Берега реки постоянно скрывала тень, как если бы дым расположенных поблизости фабрик навечно закрыл от нее солнце. Сама река была источником особого зловония, какого я не встречал более нигде, и это когда-нибудь поможет мне отыскать это место – я тут же узнаю его по запаху. За мостом сначала проходили огражденные перилами и мощенные булыжником улицы, а затем начинался подъем, сперва относительно пологий, но потом, как раз совсем рядом с д'Осейль, совсем крутой.

Мне нигде более не доводилось видеть такой узкой и крутой улицы, как д'Осейль. Почти подъем на скалу, закрытый для любого вида транспорта, поскольку местами тротуар на ней сменялся лестничными ступенями, упиравшимися наверху в высокую, увитую плющом стену. Мостовая в разных местах была разная: местами каменные плиты, где-то обычный булыжник, а то и просто голая земля с пробивающимися серовато-зелеными побегами какой-то растительности. Дома – высокие строения с остроконечными крышами, невероятно древние и опасно накренившиеся в разные стороны. Кое-где как бы падавшие друг навстречу другу дома почти смыкались крышами, образуя подобие арки; конечно, в таких местах всегда стоял полумрак. Между некоторыми домами через улицу были перекинuty соединявшие их мостики.

Обитатели этих мест произвели на меня особое впечатление. Поначалу мне казалось, что это от их замкнутости и неразговорчивости, но потом я решил, что причина в том, что все они очень старые. Не знаю, как получилось, что я решил поселиться на этой улице, но я был в то время немного не в себе. Ввиду постоянной нехватки денег мне пришлось сменить немало убогих мест проживания, пока я наконец не набрел на тот покосившийся дом на улице д'Осейль, в котором распоряжался паралитик по фамилии Бландо. Это был третий от конца улицы дом и самое высокое на ней здание.

Моя комната располагалась на пятом этаже и была единственным заселенным на нем помещением, поскольку в этом доме почти никто не жил. В ночь после моего вселения я услышал странную музыку, доносившуюся из спрятанной под заостренной крышей мансарды, и на следующий день спросил о ней у Бландо. Он ответил мне, что играл на виоле старик-немец, немой и чудаковатый, подписывающийся «Эрих Цанн», подрабатывающий по вечерам в оркестре какого-то дешевого театра; и добавил, что этот Цанн любит играть по вечерам,

по возвращении из театра, и потому специально выбрал самую высокую, изолированную комнату в мансарде, слуховое окно которой – единственное место на всей улице, откуда открывается вид на панораму по ту сторону ограничивающей улицу стены.

С того времени я каждую ночь слышал музыку Цанна, и хотя она определенно мешала мне заснуть, я был очарован ее полным таинственностью звучанием. Слабо разбираясь в музыкальном искусстве, я был уверен, что все эти созвучия не имеют ничего общего с тем, что мне доводилось слышать ранее, и сделал вывод, что этот старик – композитор невероятно оригинального склада. Чем дольше я слушал, тем сильнее восхищался, и наконец через неделю набрался смелости и решил познакомиться со стариком.

Как-то вечером я подстерег в коридоре возвращавшегося с работы Цанна и сказал ему, что хотел бы с ним познакомиться и послушать вблизи, как он играет. Он был невысок ростом, тщедушный, сутулый мужчина в потертой одежде, с голубыми глазами на забавном, похожем на физиономию сатира лице и почти лысой головой; его первой реакцией на мои слова были, как мне показалось, гнев и страх. Мое явное дружелюбие, однако, успокоило его, и он неохотно махнул, призывая следовать за ним по темной, скрипучей и расшатанной лестнице на мансарду. Его комната была одной из двух под крутой крышей, а именно западной, со стороны высокой стены, в которую упиралась улица. Помещение было довольно просторным и казалось еще больше из-за необычной скудости обстановки и общей крайней запущенности. Из мебели здесь были только узкая металлическая койка, грязноватый умывальник, маленький столик, большой книжный шкаф, железный пюпитр и три старомодных стула. На полу хаотично лежали груды нотных тетрадей. Стены комнаты были совершенно голыми и, похоже, никогда не знали штукатурки, в то время как изобилие пыли и паутины придавало помещению скорее вид необитаемого, чем жилого. Очевидно, представление Эриха Цанна о комфорте в жилище лежало далеко в стороне от традиционных воззрений на этот счет.

Жестом предложив мне садиться, немой старик закрыл дверь, задвинул большой деревянный засов и зажег еще одну свечу в дополнение к той, с которой пришел. Затем он извлек свою виолу из побитого молю футляра и уселся с ней на самый удобный из стульев. Пюпитром он не пользовался, и, не поинтересовавшись моими пожеланиями, играя по памяти, более чем на час заворочил меня мелодиями, подобных которым я никогда еще не слышал; мелодиями, которые, должно быть, были его собственного сочинения. Человеку, не разбирающемуся в музыке, описать их характер попросту невозможно. Это походило на фуги с периодически повторяющимися пассажами самого пленительного свойства, но я для себя отметил, что в них совершенно отсутствовали те полные таинственности мотивы, которые я время от времени слышал по ночам из своей комнаты.

Те таинственные мотивы я хорошо запомнил и даже нередко пытался неумело насвистывать их, и потому, как только музыкант отложил смычок, я спросил его, не мог бы он исполнить какой-то из них. Как только я завел об этом речь, его лицо сатира утратило ту прежнюю усталую безмятежность, с которой он только что играл, и на нем вновь появилась смесь гнева и страха, замеченная мною в первый момент нашей встречи. Я начал уже было его уговаривать, восприняв это как старческий каприз, и даже попытался вызвать у хозяина квартиры тот самый музыкальный настрой, насвистев ему несколько запомнившихся мне мелодий из тех, что я слышал накануне ночью. Но продолжалось все это не более нескольких секунд, ибо едва немой музыкант узнал в моем неуклюжем свисте знакомые напевы, как его лицо исказила неописуемая гримаса, а длинная, холодная, костистая рука потянулась к моим губам, чтобы остановить эту грубую имитацию. Сделав это, он еще раз продемонстрировал свою эксцентричность, бросив напряженный взгляд в сторону единственного зашторенного окошка, словно опасаясь, что оттуда кто-то появится – что было вдвойне нелепо и абсурдно, поскольку комната старика располагалась на большой высоте, выше крыш соседних домов, а кроме того, как сказал мне консьерж, это было единственное окно, из которого можно посмотреть за стену в конце улицы.

Взгляд старика напомнил мне эти слова Бландо, и у меня возникло желание выглянуть из этого окошка и полюбоваться зрелищем залитых лунным светом крыш и городских огней по ту сторону холма, доступного из всех обитателей улицы д'Осейль одному лишь сгорбленному музыканту. Я направился к окну и хотел было раздвинуть ужасного вида шторы, когда немой жилец вновь подскочил ко мне, с еще более страшной гримасой; он стал кивать головою на дверь и обеими руками потащил меня в том же направлении. Эта выходка старика вызвала у меня отвращение, я потребовал отпустить мою руку и сказал, что немедленно ухожу. Он ослабил хватку, а заметив мое возмущение и обиду, похоже, несколько успокоился. Он снова сжал мою руку, но на сей раз в более дружелюбной манере, подталкивая меня к стулу; затем с задумчивым видом подошел к захламленному столу и стал писать карандашом на вымученном французском, какой бывает у иностранцев.

Записка, которую он наконец протянул мне, содержала просьбу проявить терпимость и простить его. Цанн написал, что он стар, одинок и подвержен странным приступам страха и нервным расстройствам, имеющим отношение к его музыке и к некоторым другим вещам. Ему понравилось, как я слушал его игру, и он будет рад, если я приду снова, но просил не обращать внимания на его чудачества. Но он не может при посторонних исполнять свои таинственные мотивы и не выносит, когда их воспроизводят другие; кроме того, он терпеть не может, когда чужие люди трогают какие-либо вещи в его комнате. До нашей беседы в коридоре он не подозревал, что я слышал его игру у себя в комнате, и будет рад, если я при содействии Бландо переселюсь куда-нибудь пониже, где не буду слышать его по ночам. Он написал, что готов сам доплачивать разницу в арендной плате.

Разбирая его ужасный французский, я стал к нему более снисходительным. У него, как и у меня, физическое и нервное расстройства, а погружение в метафизику приучило меня быть добрее к людям. В тишине от окна донесся какой-то слабый стук – наверное, на ночном ветру задребезжали ставни, – и я почему-то вздрогнул от него почти так же, как и Эрих Цанн. Дочитав записку, я пожал музыканту руку, и расстались мы друзьями.

На следующий день Бландо предоставил мне более дорогую комнату на третьем этаже, между апартаментами престарелого ростовщика и комнатой респектабельного обивщика мебели. На четвертом этаже никаких жильцов не было.

Вскоре я обнаружил, что благорасположенность Цанна к моему обществу значительно меньше, чем это казалось тогда, когда он уговаривал меня съехать с пятого этажа. Сам он меня не приглашал, а когда я заходил по собственной инициативе, он казался встревоженным и играл явно без души. Происходило это всегда по ночам – днем Цанн всегда спал и никого не принимал. Моя симпатия к нему вовсе не росла, хотя и сама комната в мансарде, и доносившаяся из нее таинственная музыка сохраняли для меня непонятную притягательность. Меня почему-то тянуло выглянуть из того окна, посмотреть через стену на тот склон, который я никогда не видел, на поблескивающие крыши и шпили по ту сторону. Как-то раз я поднялся в мансарду, когда Цанн был в театре, но дверь оказалась заперта.

Преуспел я только в том, что продолжал подслушивать ночную игру старого немого музыканта. Вначале я прокрадывался на бывший свой пятый этаж, затем набрался смелости и взбирался по скрипучей лестнице на самый верх. Стоя на мансарде, в узком холле перед закрытой дверью с прикрытой замочной скважиной, я нередко вслушивался в звуки, наполнявшие меня смутным страхом – словно я стал причастным к озадачивающему чуду и непонятной тайне. Нельзя сказать, что эти звуки были зловещими – нет, не были; просто ничего подобного этому звучанию не было на земле, а порой оно казалось симфоническим, таким, что трудно было поверить, что оно создается одним-единственным музыкантом. Несомненно, Эрих Цанн был каким-то самородным гением. Проходили недели, и его музыка становилась все более необузданной, даже неистовой, а сам он заметно осунулся и стал выглядеть еще более жалким. Теперь

он отказывался принимать меня в любое время суток, а если мы встречались на лестнице, уклонялся от разговоров.

Однажды ночью, стоя возле его двери, я вдруг услышал, что звучание виолы сделалось почти хаотическим набором звуков; свистопляска, заставившая меня усомниться в собственном здравом рассудке, если бы вместе с ней из-за запертой двери мансарды не доносились горестные подтверждения того, что там действительно происходит что-то ужасное – жуткие, невразумительные стоны, какие мог издавать только немой, которые могли родиться лишь в мгновения сильнейшего страха или мучений. Я несколько раз постучал в дверь, но ответа не было. Затем я еще подождал в темном холле, вздрагивая от холода и страха, пока не услышал шорох, явно свидетельствующий, что несчастный музыкант пытается подняться с пола, опираясь на стул. Будучи убежденным, что он только что очнулся от внезапного припадка, я возобновил попытки достучаться до него, произнося при этом ободряющим тоном свое имя. Судя по звукам, Цанн доковылял до окна, закрыл не только его створки, но и ставни, после чего доковылял до двери и с трудом, с заминками, отпер ее. На сей раз я нисколько не сомневался, что он искренне рад моему приходу, ибо лицо его буквально светилось от радости при виде меня, в то время как он цеплялся за мой плащ наподобие того, как ребенок хватается за юбку матери.

Дрожа всем телом, старик усадил меня на стул, после чего сам опустился в другой, рядом с которым на полу небрежно валялись его виола и смычок. Какое-то время он сидел совершенно неподвижно, непонятно почему покачивая головой, но при этом странным образом к чему-то внимательно и напряженно прислушиваясь. Через какое-то время он, похоже, успокоился, прошел к столу, написал короткую записку, передал ее мне, после чего вернулся к столу и принялся быстро и непрерывно строчить. В записке он взывал к моему милосердию и просил ради удовлетворения собственного же любопытства дождаться, когда он закончит более подробные объяснения, уже по-немецки, о тех чудесах и кошмарах, что его окружают. Я ждал, а немой музыкант водил карандашом по бумаге.

Прошло, наверное, около часа, пока я сидел, наблюдая, как старик исписывает один лист за другим, и вдруг заметил, что он вздрогнул, словно чего-то испугался. Без сомнения, он смотрел на зашторенное окно и с ужасом прислушивался. Тогда мне почудилось, что я слышал какой-то звук; правда, вовсе не пугающий, но скорее необычайно низкую и доносящуюся откуда-то издалека мелодию, будто бы ее играл неведомый музыкант в одном из соседних домов или где-то за высокой стеной, заглянуть за которую мне пока не доводилось. На Цанна звук этот произвел устрашающее воздействие – отбросив карандаш, он резко поднялся, схватил свою виолу и принялся заполнять ночную тишину дичайшими мелодиями, подобные которым я слышал только стоя под его дверью.

Бесполезно даже пытаться описать игру Эриха Цанна в ту страшную ночь. Ничего более страшного мне слышать еще не доводилось, а кроме того, на сей раз я видел выражение лица музыканта, который словно бы испытывал чистейший ужас. Он старался производить как можно больше звуков, словно хотел что-то отогнать, услать прочь – не могу представить, что именно, но, судя по всему, довольно жуткое. Его игра скоро приобрела фантастическое, бредовое, истеричное звучание, и все же продолжала нести на себе отпечаток несомненной музыкальной гениальности этого странного старика. Я даже разобрал мотив – это была бурная венгерская пляска, из тех, что часто используются в театрах, и в тот же момент автоматически отметил, что впервые слышу, чтобы Цанн исполнял чужое произведение.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.